

Вигдорова Фрида Абрамовна

Семейное счастье

Фрида Абрамовна ВИГДОРОВА

Семейное счастье

Анонс

Романы "Семейное счастье" (1962) и "Любимая улица" (1964) были изданы незадолго до смерти Ф. Вигдоровой и после 1966 г. не переиздавались. В главных героях дилогии особенно полно отразилась личность автора. Это книги о семейных отношениях, о воспитании детей, о жизни, о смерти, о дружбе и о порядочности.

Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья.

Л. Толстой. "Семейное счастье"

ПРОЛОГ

Иногда люди думают, будто они первые открыли прелесть весны, зимы или тишину утреннего моря. Очарование человека, неба или дерева. А как Андрей открыл Сашу? Очень просто. Он учился в Военно-воздушной академии. Она кончала школу. Двор, где жила Саша, был отделен от улицы железной узорной оградой. Была весна. Саша и Андрей сдавали экзамены. Он - в академии, она в своем десятом классе.

Андрей только что сдал теорию воздушной стрельбы. Он не просто сдал. Молодой и очень строгий профессор с длинным бледным лицом и узкими зоркими глазами сказал ему:

- Я рад. С вами можно говорить. Вполне осмысленная речь. И вы умеете самостоятельно мыслить. Молодец!

Молодой строгий профессор редко хвалил. А тут он не поскупился. "Я рад, - сказал он, - молодец! Вы умеете самостоятельно мыслить!"

Человеку всегда трудно одному со своей радостью. У Андрея были, конечно, товарищи, но не было семьи. Как большинство слушателей академии, он снимал комнату. И сейчас, когда Андрей вернется домой, мамыны глаза не поднимутся навстречу ему. И он не ответит насмешливо: "Провалился!"

...Хотелось спать. Сейчас он придет и ляжет. Но никто не прикроет его одеялом. А ведь он знал, что кое-кого из его товарищей укрывали одеялом, им даже подавали чай и говорили: "Отдохни, Володя, отдохни, милый!" Андрей думал обо всем этом, смотрел по сторонам и попросту не очень торопился.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Андрей родился и рос в Калуге. На окраине стоял бревенчатый просторный дом. Запах смолы не выветривался, не уходил из него, хотя бревна, из которых он был сложен, были очень старые.

Когда приходила весна, весь дом наполнялся запахами земли, листвы, сада. Комнаты были прохладные, полы крашенные, чисто вымытые, а в раскрытые окна бежал ветер.

И теперь, когда Андрей стал взрослым, каждая новая весна несла ему эти незабываемые запахи его детства - земли, травы, ветра.

Окна в их доме распахивались рано, гораздо раньше, чем у других.

В кабинете отца стоял массивный письменный стол, резной, огромный, и глубокое кожаное кресло. По стенам стояли шкафы - очень старые, полные старинных медицинских книг. Их читал еще прадед Андрея, он и положил начало этой библиотеке. Отец - Николай Петрович - редко снимал их с полки, но дорожил ими. И все вместе - стол, кресло, книжные шкафы - уважительно называлось "папина библиотека". В папиной библиотеке всегда было чисто, прохладно и чуть сумрачно: окна выходили на север, да еще у самых окон росли кусты бузины.

У мамы тоже была своя комната и свои книги. Но у мамы все было другое. Ее комнату заливал яркий свет, и в окна заглядывала сирень. Солнце кочевало от одного окна к другому.

Тут не было штор, только легкие светлые занавески. И казалось, что комната вливается прямо в сад. На мамином кресле всегда лежала какая-нибудь книга, а любила она книги, которые в детстве казались Андрею скучными: Чехов, Гончаров, Ибсен и Гамсун.

Все в мире открывала Андрею мать.

- Послушай, как тихо, - говорила она. И он понял, что тишину можно слушать.

- Не зажигай света, - просила она, - посидим так. - И он узнал, как хорошо посумерничать и помолчать вдвоем.

Однажды поздней осенью они шли по лесу, по желтым лесным дорожкам. Только выпал первый снег - тонкий, редкий, словно не снег, а изморось. И вдруг мама сказала:

- Посмотри, березовые листья как золотые пятаки на снегу. Верно? А кленовые - как будто след птичьей лапки. А вот дубовый, распластанный погляди.

- Как след медведя! - сказал Андрей. Мать ответила радостным смехом:

- Да, да! Как будто медведь прошел!

Да, видеть это, радоваться этому тоже научила его она.

Он не мог бы рассказать, как она воспитывала его, он и не знал, что его "воспитывают". Однажды, вернувшись из школы, он сказал:

- Мама, Елена Федоровна говорит: "Москвин, ты ведешь себя примерно, я поручаю тебе после уроков приносить мне фамилии ребят, которые плохо ведут себя на перемене". Что же мне делать? Не стану я записывать

Мать ответила:

- Отчего же? Пиши! Да только всегда одну фамилию - свою собственную.

Андрею стало весело - в самом деле, как хорошо и просто она придумала.

А в другой раз было так. Мать работала в саду - она сама выращивала цветы: ранней весной - незабудки, анютины глазки, летом - розы и флоксы, осенью - астры и георгины.

Вернувшись из городского сада, где он играл с ребятами в казаки-разбойники, Андрей стоял и задумчиво глядел, как, сидя на корточках, она копается в земле. Оба молчали

И вдруг, вскинув на него глаза, она спросила с мягкой насмешкой:

- А ты не устал стоять?

Ему было тогда лет семь. Пожалуй, никакой самый беспощадный укор не запечатлелся бы в его памяти так глубоко, как эти насмешливые слова.

Всю домашнюю работу они делали вдвоем: мыли полы, летом белили стены (мать не признавала маляров). Когда она стирала, Андрей приносил из колодца воду. А полоскать ходили на речку. Они вместе несли корзину с бельем, и по дороге он мог спрашивать обо всем на свете. Она никогда не отвечала: "Тебе это рано знать" или: "Ты этого не поймешь".

Однажды она рассказала Андрею историю английского капитана Скотта, который открыл Южный полюс на пятнадцать дней позже норвежца Амундсена. Андрея долго не оставляла мысль о том, как они шли обратно - пятеро друзей по снежной пустыне на отяжелевших лыжах, обманутые в своей надежде, в своей мечте. Подумать только - опоздать на пятнадцать дней!

Он видел капитана, который, лежа в палатке, окоченевшей рукой выводил на бумаге последние слова друзьям и родным. Их нашли мертвыми. Кажется, через год. Они лежали так, как их застала смерть, - обманутые, обессиленные, но не сдавшиеся. Тогда не было самолетов, - думал Андрей. Я бы сел на самолет и полетел бы к ним. Я приземлился бы и - вот она, палатка, я бегу, бегу туда, ноги вязнут в снегу...

- Капитан Скотт, - говорил он дрогнувшим голосом, - вы спасены! Я советский летчик! Я прилетел за вами!

- Как я рад! - отвечала за капитана Скотта мама. Этот ответ казался Андрею легкомысленным, он ожидал

Слов более высоких, красивых, торжественных, а все же он радовался, что она так быстро, так легко вошла в игру, не придирается, не говорит: "Тогда еще не было советских летчиков", - нет, ей ничего не надо объяснять.

- Помогите моим друзьям, - говорит она. - Они вели себя мужественно!

Да, да! Именно так должен был отвечать капитан! Пер

Вое его слово не о себе - о друзьях!

И Андрей поил отважных исследователей вином, давал им лекарства, сажал их в самолет, и они летели высоко над бескрайней снежной равниной.

Проснувшись утром, Андрей слышал:

- Здравствуй, милый!

Так говорила она и проводила рукой по его щеке. И звук этого голоса он вызывал в своей памяти всякий раз, когда ему бывало трудно, уже много времени спустя после ее смерти. "Здравствуй!" - это слово означало, что начинался день, что они будут вместе. И сейчас, уже взрослым, увидев чашку с молоком, он вспоминал ту, белую в красных горошинах чашку, которая ждала его когда-то на кухонном столе. Придя из школы, он останавливался у порога и переобувался, чтобы не наследить в комнатах. И горячая плита, и потрескивание дров, и чашка с молоком, и простое слово "Здравствуй!" - все это наполняло его ощущением покоя.

Главным человеком в доме была она. Андрей вырос с этим чувством и не понимал, как может быть иначе.

В их доме все комнаты постоянно - даже поздней осенью - были полны цветов. Цветы стояли в банках, кувшинах, ведрах. Они стояли повсюду и часто мешали отцу, но он никогда не забывал сказать, разводя большими руками:

- Какая прелесть твои цветы, Аня!

Когда мать играла на старом пианино, где "до-диез" не откликалось вообще, а "фа" простужено дребезжало, отец слушал задумчиво и благоговейно.

Он был старше матери, и Андрей с детства помнил его сутулым, с седыми висками, в очках. Даже на детской фотографии Николай Петрович походил на себя взрослого - сутулый подросток в очках. И так было странно, что его когда-то называли Колей.

Мама хоть и говорила ему "ты", но называла Николай Петрович. А отец говорил ей Аня или "дитя мое". И Андрею это нисколько не казалось смешным. Появились у матери седые волосы и морщины прорезали высокий, чистый лоб, а отец все говорил "дитя мое".

\*\*\*

Однажды Андрей услышал, как отец его товарища, Вани Покатилина, сказал жене: "Да ты сдурела!" Андрею показалось, что сейчас обрушится потолок. Со страхом посмотрел он на Ванину маму, на самого Ваню, - никто и бровью не повел. Только мать ответила: "Сам ты сдурел!"

...А город? Что на свете было лучше Калуги? Тихие улицы, шелест деревьев, и на окраине, почти у самой Оки, простой деревянный дом, каких в Калуге много, - дом Циолковского. Андрей часто видел высокого, бородатого старика в очках. Видел часто, но лучше всего запомнил одну встречу. Ничем она не была примечательна, но отчего-то запала в память. Андрей увидел его издали и сказал себе: "Я поздравляюсь. На этот раз я поздравляюсь. Я скажу: "Здравствуй, Константин Эдуардович..."

Старик приближался. Андрею казалось: все в нем - величие. И рассеянная походка, и сосредоточенное лицо. Он шел, опираясь на палку, ничего не слыша. Андрей шагнул к нему навстречу и... ничего не оказал. Он не посмел нарушить молчание, не посмел спугнуть тишину, которую нес в себе этот человек. И долго стоял Андрей, глядя вслед старику. А тот все шел и шел к реке, где ожидала его своя лодка...Никому в этом не признаваясь, Андрей горячо верил, что будет среди тех, кто первыми полетят на Марс. Этот микроб жил в воздухе его города, где так часто слышалось волшебное слово "звездоплавание". Андрей твердо верил, что на Марсе есть люди, - в этом его убедили "Аэлита" Алексея Толстого и Циолковский, с которым он так и не посмел заговорить.

Андрею было шестнадцать лет, когда умерла мать. И детство сразу кончилось. Стало темно. Во все щели дома вползала тоска. Она не давала ни жить, ни дышать. Все, что радовало при матери, - цветы в палисаднике, небо, трава, деревья, - все превратилось в боль, все напоминало о ней. Когда отца не было дома, Андрей входил в ее комнату. Тут ничего не и случилось. На письменном столе лежала раскрытая книга, на ночном столике стояли ее лекарства, поблескивало стекло ее маленьких круглых часов.

- Николай Петрович, - говорила отцу соседка, - но сильные вещи надо бы раздать за помин души. А, Николай Петрович?

Отец не отвечал и, сутулясь, уходил к себе. Мамины вещи по-прежнему висели в шкафу. Отец нес в себе свое горе мрачно, не расставаясь с ним ни на минуту, и целыми днями

пропадал в больнице.

Случалось, Андрей не видел отца по несколько дней. Отец не знал, как Андрей учится, не замечал, что сын вырос из своего прошлогоднего пальто. Андрей боялся напоминать о себе, он часто ночевал у Вани Покатилина, где громко разговаривали и смеялись. Ему трудно было слышать чужой смех, но еще труднее оставаться в молчании своего дома. Это была не та тишина, которую она любила и его научила любить.

Отец все так же принимал больных, по первому зову шел на другой конец города или выезжал на село. Лицо его было угрюмым, беспощадным, злобным. Андрей удивлялся, что это лицо никого не отпугивает, что к отцу по-прежнему идут за помощью и советом. Андрей не обращался к нему ни за деньгами на завтрак, книги, кино, ни с просьбой купить новые башмаки.

И вот пришел день - это было в 1931 году, - и Андрей, запинаясь (он отвык говорить с отцом), сказал Николаю Петровичу, что райком комсомола направляет его в Оренбургское летное училище и что завтра он уезжает.

Отец поднял на него глаза и вдруг спросил:

- А я? Я-то как же? Один?

Махнув рукой, он ушел к себе в кабинет. И долго-долго потом, среди ночи, утром на занятиях, на улице - внезапно, как удар в сердце, Андрей слышал этот голос, эти слова: "А я? Я-то как же? Один?"

Он уехал, но разлука с отцом кончилась. "Прости меня, - писал отец, - я очень виноват перед тобой. Ты был оставлен мне в наследство, я не смел забывать о тебе, не смел так подчиняться гору. Не забывай, пиши".

Андрей не забывал. Он писал отцу, приезжал к нему в отпуск, и они радовались друг другу заново, как если бы встретились впервые.

\*\*\*

Андрею было семнадцать, когда он поступил в училище. Его зачислили на отделение летнабов - летчиков-наблюдателей. Там учили бомбометанию, разведке, корректировке стрельбы, аэрофотосъемке. Это было не то, о чем он мечтал, но это требовало хорошей головы, умения вести расчеты, а у Андрея было за плечами девять классов, по тому времени огромное образование. Кончил он ускоренно - за год и попал в бригаду бомбардировщиков в небольшое местечко на Украине.

Когда в 1934 году "Челюскин" потерпел крушение, Андрей был уже штурманом отряда. Казалось, сбудется детская давнишняя мечта: лететь, спасти, выручить!

Он подал рапорт командиру эскадрильи, тот передал командиру бригады. Комэск отнесся к рапорту серьезно. Он не сказал Андрею: "Куда ты лезешь, безусый мальчишка?" Он считал, что такому штурману, как Андрей Москвин, любая задача по плечу. Вообще он считал, что знание синусов и косинусов в сочетании с летной практикой должно делать чудеса. Но командир бригады вызвал Андрея и объяснил ему, что там, на Севере, нужны летчики-полярники. А ему, Андрею, он присмотрел другую судьбу.

- Ты у нас самый грамотный, - сказал он, - у тебя девятилетка! Ты, я слышал, по бомбометанию и аэрофоторазведке формулы выводил, прицелы отлично знаешь, на полигоне лучше тебя никто не бомбит. Пойдешь осенью в Воздушную академию, на командный факультет. Будешь большим штурманом.

Так случилось, что в 1934 году Андрей уехал в Москву, в Военно-воздушную академию имени Жуковского.

Ничего, - думал Андрей, - мой час придет! Я знаю, придет!

Саша тоже потеряла мать, но гораздо раньше, чем Андрей. Ей было тогда всего три года. Через год в их дом пришла новая мама, все называли ее мачехой. Соседки жалели Сашу, тетки - сестры отца - смотрели на мачеху настороженно.

Саше было четыре года, мачехе - тридцать. Это была тихая женщина с голубыми добрыми глазками и светлыми волосами. По дому она ходила неслышно и всех немножко боялась, даже Сашу. Особенно она боялась своего мужа, Константина Артемьевича. Когда он начинал громыхать своим зычным голосом, она вся замирала, светлые глаза ее часто-часто моргали, и она говорила:

- Успокойся, голубчик, не надо волноваться. А он и не волновался, он просто всегда так говорил - шумно, напористо, размахивая руками. Хохотал он так громко, что на столе звенела посуда. Он был высокого роста, широк в плечах, и рядом с ним мачеха казалась совсем незаметной.

Когда они шли в гости, мачеха, Нина Викторовна, собиралась старательно. Она завивалась и пришивала к платью белый воротничок, - она не хотела ударить в грязь лицом перед родней и знакомыми мужа. Но в гостях она все больше молчала, и на лице у нее, казалось, было написано: "Не обращайтесь на меня внимания, я так просто, я ничего".

Мачеха работала бухгалтером в стройконторе, но за домом глядела хорошо. Она научилась готовить все армянские блюда (Константин Артемьевич по отцу был армянином), а у себя в стройконторе даже осмеливалась говорить: "У нас в Эривани..." и "Наша армянская кухня..." На работе ее так и прозвали: "Наша армянская кухня".

С Сашей она обращалась так же осторожно и робко, как и с Константином Артемьевичем, стирала и гладила ей платья, заботливо вплетала ленточки в косы и никогда ни за что не выговаривала. Сначала Саша называла ее просто "мачеха": "Мачеха, купи мне мороженого!", "Мачеха, дай конфету!"

Нина Викторовна очень обижалась, даже плакала. Однажды Константин Артемьевич подошел к Саше, грозно помахал перед ее носом указательным пальцем и сказал:

- Чтоб я больше этого не слышал! Папиного пальца Саша нисколько не испугалась, не сразу поняла, чего от нее хотят, но довольно скоро сама по себе стала называть Нину Викторовну мамой.

\*\*\*

Потом родился Леша, и Нина Викторовна повеселела, а родня сразу, словно по команде, подобрела к ней; как ни говори, первый сын в семье!

Дети росли, не доставляя Нине Викторовне особых хлопот. Саша была тихая и послушная девочка. Она целые дни проводила во дворе, а потом пошла в школу. До третьего класса она училась хорошо, а когда перешла в третий, Нину Викторовну вызвала классная руководительница и сказала, что девочка перестала заниматься: не учит стихов, не решает задач.

Добиться от Саши толку было нельзя.

- У меня отшибло память! - повторяла она слова, слышанные от соседки тети Даши.

Нина Викторовна и Константин Артемьевич сидели с ней часами, пытаюсь втолковать ей самую простую из простых задач, учили с ней стихи, но она смотрела в стену прозрачными синими глазами. Было ясно, у ребенка и впрямь отшибло память.

Константин Артемьевич выходил из себя. Белки его глаз сверкали, он кричал:

- В нашей семье все кончали с золотыми медалями! У нас во всей родне только двое со средним образованием! У нас аспиранты! Научные работники!

Если говорить правду, кто-то из теток действительно кончил гимназию с серебряной медалью, а в Эривани преподавал в университете географию дядя Гурген. Но на этом пышный список кончался. Вся надежда была на будущее поколение, но будущее поколение бастовало: Саша забыла все, даже таблицу умножения.

- Нина, - сдерживая себя, тихим, но грозным голосом говорил Константин Артемьевич, - не скрывай от меня, что случилось? Может, она ушиблась? Может, она упала с лестницы? Я поставлю на ноги всю медицину!

В ответ Нина Викторовна тихо плакала. Спокойна была только одна Саша. Прозрачными и отчужденными глазами, не моргая, смотрела она, как бушует отец, слушала тихий, виноватый плач матери: "Недоглядела!" ,

Саше запретили гулять во дворе, ее то сильно жалели, то строго наказывали.

А Саша сидела посреди комнаты на полу и вместе с маленьким Лешей строила из кубиков железную дорогу. Она отлично помнила таблицу умножения и стихи, в которых говорится о грозе в начале мая. Все она знала и все помнила. Просто она решила остаться на второй год. Другого выхода у нее не было.

Сашина учительница Тамара Сергеевна была как все. Учительница и учительница. А вот в младшем, втором классе учительница была необыкновенная. Она играла с детьми на переменах, а Тамара Сергеевна уходила в учительскую. Та, другая, после уроков читала ребятам сказки, а Тамара Сергеевна скучным голосом говорила: "В пары! В пары! Спускайтесь тихо!"

Во втором классе учительница была такая, что хотелось все время быть около нее. И еще во втором классе Саша углядела девочку Юлю - рыжая, кареглазая, веснушчатая, она была красивее всех. На переменах она бегала, прыгала, и Саше казалось, что она не бегают, не прыгает, а танцует. Голос ее звенел на весь коридор. Она задирала ребят, дразнила их, но никто на нее не обижался.

Саша толкалась возле второго класса "в" все перемены напролет, но заговорить не осмеливалась. И вот однажды она догнала Анну Дмитриевну на улице и пошла рядом с ней. Собравшись с духом, она сказала решительно:

- Я в третьем классе, но я хочу учиться у вас!

- Да, - вздохнув, ответила учительница, - я тоже хотела бы стать на год моложе!

- А я не хочу, чтоб мне стало восемь. Пусть остается девять. Но я хочу к вам. И к Юле.

Учительница остановилась и посмотрела на Сашу пристально.

- Что же нам делать? - сказала она. - Ты на год старше моих детей, не оставаться же тебе на второй год. - Молодая учительница и подумать не могла, какое решение подсказала Саше. Она погладила девочку по голове и простилась с ней. - Приходи в гости в наш класс.

А Саша приступила к делу. Она твердо решила остаться на второй год. И осталась.

\*\*\*

И вот пришло первое сентября. Второгодница Саша, очень счастливая, вошла в класс к своей новой учительнице. Все, все в этом классе было хорошо, более того: прекрасно! А девочка Юля - Рыжая, кареглазая, веснушчатая - была лучше и красивее всех.

- Давай дружить! - глубоко вздыхая, сказала Саша.

- Чего? - ответила Юля.

- Давай дружить! - повторила Саша.

- А я не хочу!

- Почему? - тихо опросила Саша.

- Почему, почему! Потому, что кончается на "у" - И, подумав, Юля прибавила:

- Ты второгодница!

- Что? - дрожащими губами сказала Саша. - А может, у нас только двое со средним образованием... может, у нас все с медалями... У нас... У нас...

Саша тихо вышла в коридор и всю перемену простояла одна, глядя в окно. В упрямой ее голове зрело новое решение, сулившее на этот раз много радости Константину Артемьевичу.

Начала Саша с того, что перестала глядеть в Юлину сторону. Потом она выучила все стихи из "Родной речи". Потом налегла на учебники по естествознанию, географии, истории. Она выучила их от корки до корки. Едва учительница открывала рот, как Саша поднимала руку и говорила:

- А я это знаю!

- Вот и прекрасно! - говорила Анна Дмитриевна и продолжала рассказывать дальше.

Саша знала все. Нет, это не было хвастовством, она действительно все знала. Но коварная Юля заявляла:

- А что такого? Она же второгодница!

Что было делать? Саша стерпела и это. Но она твердо стояла на своем, не разговаривала с Юлей и училась отлично.

Как часто бывает, победа пришла неожиданно.

- Давай сядем вместе! - сказала Юля, когда они перешли в четвертый класс.

Снова было первое сентября и новая, еще не знакомая классная комната, пустые парты, гладкие, черные, которых еще не коснулся ни один перочинный нож. Саша стояла на пороге, не видя, не слыша, как ребята шумно рассаживаются. Она видела только Юлю.

- Мы обе рассеянные, давай сядем вместе, поближе к доске, - повторила Юля.

Рассеянные! Обе! Вот счастье! Обе! Подумать только! И Саша пошла рядом с Юлей, они сели на первую попавшуюся парту и принялись болтать: за минувший год много накопилось такого, что необходимо было сказать сейчас же, не теряя ни минуты!



- А я еще давно, - захлебываясь, говорила Юля, - я еще давно хотела тебе сказать...

- Так почему же не сказала?

- Я боялась. Помнишь, мы ходили на экскурсию, а ты еще сказала: "Не люблю воображалок!" Я решила, что ты про меня, и поэтому...

- Ну что ты! Это я про Валю Дудорову. А как раз на той экскурсии я хотела подойти, но ты отвернулась и пошла с Танькой...

В школе с этого дня все стало хорошо и счастливо. Школа была настоящей Сашинной жизнью, она никогда не искала ни тепла, ни света, ни развлечения на стороне - все самое дорогое было здесь: друзья и любимая учительница.

Когда Сашин класс кончил начальную школу, ребята записали в протоколе: "Постановили: просить Анну Дмитриевну, чтобы перешла с нами в пятый класс и оставалась бы с нами вместе до самой старости". И она осталась с ними до конца, до самого десятого класса и учила их литературе и русскому языку.

Дома тоже все было хорошо. Родители не жаловались на Сашу: послушная девочка, хорошо учится, наверняка получит похвальную грамоту. И только иногда, изредка возникала та Саша, что упрямо смотрела прозрачными, невидящими глазами, та упрямая Саша, которую было ни уговорить, ни переспорить.

Она любила петь, играла по слуху на гитаре, на мандолине, на балалайке. Ее хвалила учительница пения, а на школьных вечерах она всегда выступала в хоре.

\*\*\*

- Мы будем учить ее музыке! - решил Константин Артемьевич.

Он пригласил учительницу и взял напрокат пианино.

- Когда женщина играет на рояле... - говорил он мечтательно и умолкал. Всем было ясно: это красиво, поэтично, это украшает семейную жизнь.

Саша с нетерпением ждала учительницу. И она пришла, И стала учить Сашу гаммам.

- У Саши абсолютный слух! - с гордостью говорила Нина Викторовна всем знакомым.

Но разве для гамм нужен слух? Саша решила: не нужен. Когда после школы она должна была садиться за пианино на час, потом на два и играть, играть ненавистные гаммы, ей казалось, что на улице дождь бьет о стекла нескончаемо и нудно. Саша глядела на часы, но стрелки будто застывали на месте. Закусив губу, Саша снова принималась за гаммы, ненавидя взятое напрокат пианино и эти черно-белые клавиши.

- Руку! Как ты держишь кисть? Это уродливо! - говорила учительница.

До чего же все это было не похоже на счастье, которое испытывала Саша, когда, оставшись одна в пустом школьном зале, она откидывала крышку рояля и начинала играть, что хотела. Как ей были покорны клавиши, как гулко звучала мелодия, если Саша нажимала на педаль. Тут ей никто не мешал нажимать на педаль и никто не говорил, что она уродливо держит кисть. И непременно открывалась дверь, на цыпочках входил кто-нибудь из ребят, садился рядом и слушал. Ребята говорили друг другу: "Вот здорово!" А Юля поясняла: "У Саши абсолютный слух!", она была добрая девочка и очень хорошая подруга.

Саша занималась музыкой около года, а потом сказала решительно:

- Больше не буду!

- То есть как? - поднимая брови, спросил Константин Артемьевич.

- А вот так.

Все уговоры и просьбы родителей разбились о Сашино упрямство. Окаянное пианино унесли под укоризненными взглядами соседей. Кто-то другой, несчастный и терпеливый, стал разучивать на нем гаммы. И пусть его!

Опять все пошло мирно.

- Мне с ними хлопот нет, - говорила Нина Викторовна. - Леша хоть и баловной, но такой любящий. Его всегда можно уговорить. Да и Сашу тоже. Нет, ничего не скажешь: легкая девочка. И вот легкая девочка перешла в десятый класс. Ей минуло восемнадцать (она ведь оставалась на второй год!).

Саша сидела во дворе и готовилась к выпускным экзаменам: она учила физику. Много раз вместе со своими одноклассниками Саша обсуждала проклятый вопрос: могут ли дружить мальчик с девочкой? Почти все говорили:

- Да, могут.

Ну хорошо - дружба возможна. А возможна ли любовь? А что такое любовь? А бывает любовь с первого взгляда? Судя по "Евгению Онегину", бывает. Но ведь Писарев подвергал сомнению чувство Татьяны и смеялся над ним? Нет, Саша считала, что любви с первого взгляда быть не может. Потому что для любви нужны: а) взаимное уважение, б) общность взглядов.

А для этого, в свою очередь, нужно знать друг друга, иначе как поймешь, общие ли у тебя взгляды? Дома тоже говорили, что чувство надо подвергать долгой проверке. Нина Викторовна, например, до замужества любила Константина Артемьевича пять лет, еще когда жива была Сашина мама.

...И вот на учебник физики упал букетик ландышей. За решеткой двора стоял молодой летчик. Он смотрел на Сашу Потом он поднял руку и стянул с головы пилотку, темные волосы рассыпались и упали на лоб. Из-под темных бровей смотрели глаза - коричневые, большие и теплые. Стояла ранняя весна, но лицо было обветренное, загорелое, и особенно белыми казались зубы, в мгновенной улыбке осветившие лицо.

\*\*\*

Было странно, что он в военной форме, - перед Сашей стоял юноша, почти ее ровесник. Рукава гимнастерки были чуть коротковаты, и большие сильные руки как будто выросли из них.

Она подошла к решетке, из-за решетки обдал ее все тот же коричнево-ясный, светлый взгляд. Губы были твердого, чистого рисунка, а ресницы длинные, как у девушки.

- Как вас зовут? - спросила Саша.

- Андрей. А вас?

- Заходите к нам, - сказала она вместо ответа. Она и вправду могла сказать так: этот двор принадлежал ей - и двор, и скамейка, и каштан.

Он сел на скамейку, и оба разом замолчали. Стало неловко. Оба почувствовали эту

неловкость и почему-то засмеялись. И Саша поняла, что общность взглядов у них полная. И еще Саша поняла, что любовь с первого взгляда бывает.

Что долго рассказывать? Экзамены полетели вверх тормашками. Саша сдавала их, но она больше ничего не учила - ни биологию, ни историю, ни алгебру.

Она никогда не думала, что можно так бездумно и легко пойти пешком от Серебряного переулка до Воробьевых гор. Они шли и молчали. Иногда, поднимая голову, она видела рядом смуглый мальчишеский профиль, твердый подбородок, как будто давным-давно знакомую твердую линию губ. И она спрашивала себя: как я жила прежде?.. Как будто можно называть жизнью завтрак, обед, школу, учебники.

Они шли рядом, но он не брал ее под руку. И она отстранилась, когда случайно, при переходе через улицу, ее плечо коснулось его руки.

И вот были сумерки, над головой шелестели деревья Нескучного сада, а под ногами шуршал песок дорожек. Его рука чуть приподнялась и опустилась. Затаившись, испуганная Саша ждала. И опять поднялась рука, рождая страх. и надежду, робко, нежно коснулась Сашиной руки и, осмелев или, может, отчаявшись, крепко сжала Сашины пальцы.

Так вот чего она ждала! Так вот что ей было надо! И будто услышав, Андрей уже не отпускал ее руки. Они шли, как двое детей, по дорожкам сада, держась за руки, не глядя друг на друга, по новой, только что открывшейся им стране. И вдруг, как гром среди ясного неба, раздался свисток. Перед ними стоял милиционер. Он глядел сурово, и голос его звучал холодно, когда он сказал:

- Попрошу освободить территорию, парк закрывается!

Снова они попали в шум улицы, в сутолоку машин, в толпу. Но их страна была обитаема, они были не одни. Саша вдруг поняла: в этом большом городе, где шла, не останавливаясь, своя, деловая жизнь, было много влюбленных. Они стояли в подъездах, сидели на скамейках бульваров, шли по улицам, взявшись за руки. Их толкали, им говорили: "Да посторонитесь, загрохотали двери!" На них оглядывались. Но они ничего не замечали, ничего не видели. Похоже было, что страну влюбленных окружала невидимая высокая стена и над ними были не властны ни милиционер, ни дворник, ни прохожий, ни чужая насмешливая улыбка, ни машины, которые так и норовили сбить их с ног.

- До свидания! - сказал Андрей, проводив Сашу до дому. Оба стояли под каштаном. - Ты сердисься? Почему ты молчишь? - спросил Андрей.

Она стояла перед ним, сдвинув брови, сжав губы, маленькая и тихая. Испугавшись, не зная своей вины, он положил ей руки на плечи и - он сам не мог бы рассказать, как это случилось, - поцеловал ее. Поцеловал - и ужаснулся. Ужаснулся и поцеловал еще раз.

Саша замерла.

- Погоди, - сказала она, - я хотела спросить. Послушай... Это значит... Это... мы, что ли, любим друг друга?

И тогда, будто освободившись, найдя слова, которые искал и которые она ему подсказала, он ответил тихо и внятно:

- Я тебя люблю.

- Ты сошла с ума! - кричал Константин Артемьевич, хватаясь за сердце.

- Костя, голубчик, не волнуйся! - плача, уговаривала Нина Викторовна.

- Нет, что позволяет себе эта девчонка! Ты распустила ее!

Он повернул к Саше бешеное лицо.

- Я издеваться над собой не позволю! Это тебе не уроки музыки, захотела - бросила. Я тебе покажу - замуж! Ты помнишь, что тебе восемнадцать лет?

- Джульетте вообще было четырнадцать, - сказала Саша.

- Вообще! Ты слышишь, Нина, - "вообще"! На что ты намекаешь?

- Я не намекаю. Я прямо говорю: я вышла замуж!

- Что? - сказал Константин Артемьевич, пошатнулся и сел на диван.

- Нет, ты и вправду ненормальная, - откликнулась Юля. - Ты ведь завалила все экзамены!

- Почему завалила? У меня по всем предметам "хорошо".

- Ты должна была получить похвальную грамоту! В вуз без экзамена, дура ты ненормальная!

- Ах, да какое это имеет значение! - отвечала Саша, стараясь глядеть поверх Юли, хотя Юля была выше на целую голову.

И Юле показалось, что Саша уходит от нее, уходит далеко и что она никогда ничего про Сашу не знала.

- Ты же сама говорила: чувство надо проверить!

- Мы проверили, - коротко отвечала Саша.

- Я не пущу его на порог! - закричал с дивана Константин Артемьевич.

- А мы едем завтра в Калугу, - ответила Саша...Они уезжали в Калугу вечером. На перроне стояли тетя

Вера и тетя Маргарита. Тетя Вера была невысокая, смуглая, в очках. Тетя Маргарита - грузная, многословная, с большой родинкой на подбородке. Она держала в руках букет сирени.

- Обидели вы отца, молодые люди, - говорила она строгим басом.

- Право, я этого не хотел, - серьезно и грустно оправдывался Андрей. Но Константин Артемьевич не пожелал меня видеть. Что же мне оставалось делать?

- Посоветовались бы со мной, - басила тетя Маргарита. - Я не враг. Я старшая в нашей семье... Я женщина, наконец.

- Вы правы, правы, конечно, - виновато отвечал Андрей. - Я просто не догадался.

Он не смел признаться, что Саша ни словом не обмолвилась о существовании тети Маргариты. Саша стояла рядом в пестреньком ситцевом платье и пристально смотрела в конец перрона.

Она не слышала, как тетя Маргарита учила уму-разуму ее и Андрея и твердо наказывала ей уважать мужнину родню. Она все смотрела и смотрела в конец перрона.

Константин Артемьевич выплыл из толпы, чуть задыхаясь, вытирая платком лоб. Рядом с ним

семенила заплаканная нарядная Нина Викторовна.

- Рад познакомиться! - сухо отчеканил Константин Артемьевич, протягивая Андрею руку и не глядя на Сашу.

- Я тоже, я тоже очень рад, - заволновался Андрей. - Я очень много слышал о вас...

Константин Артемьевич грозно захохотал.

- Что ж, и на том спасибо, - ответил он.

- Отъезжающие, в вагон! - сказал проводник. Саша заметалась. Константин Артемьевич все еще не

Смотрел на нее. И тут, забыв обо всем, Саша кинулась к отцу и сказала:

- Не сердись!

- Отъезжающие, в вагон! - напомнил проводник.

А Нина Викторовна тем временем целовала Андрея. Тетя Вера плакала, тетя Маргарита сморкалась и совала букет сирени проводнику.

С подножки вагона, сквозь слезы, застилавшие ей глаза, Саша смотрела на удалявшийся перрон и не видела никого, кроме отца. Он бежал следом, махал руками и что-то кричал.

Поезд ушел. Тетя Маргарита повернулась спиной к Константину Артемьевичу, бросив на ходу:

- Выгнал из дому родную дочь! Это тебе не восемнадцатый век, женское достоинство надо уважать.

- Да, да, эти суфражистские идеи мне давно известны, - грустно ответил Константин Артемьевич. И, взяв под руку Нину Викторовну, пошел прочь с вокзала.

Шесть утра. Калуга еще спит. Звенят птицы. Под ноги Саше шарахнулась курица.

- Почему она голубая?

- Ее выкрасили синькой, чтоб не спутать с соседской. А ты думала, это синяя птица?

Что ж, Саша не удивилась бы сейчас и синей птице. Ей чудится, будто она уже была здесь когда-то. Кажется, и закрыв глаза, она найдет здесь любую улицу, любой переулок, и дом Циолковского, и домик, где рос Андрей. Еще в Москве он рассказывал ей обо всем - о поляне, где пускал бумажного змея, о камышах у берега, где стояла его лодка.

Он рассказывал, и Саше казалось, что она слышит, как с тихим плеском отталкивалась лодка от берега, когда он уходил с Ваней Покатилиным на рыбалку. Саша видела аиста, который каждую весну прилетал к соседу на крышу. Она говорила:

- Это та улица, где ты заблудился? А тут вы с мамой подобрали голубя с подбитым крылом? Это здесь ты подрался с Ваней?

Она перепутала все улицы и переулки, но помнила все, что он рассказывал.

В одной руке Андрей нес их общий чемодан, другой держал Сашину руку, как тогда, в Нескучном саду. И ничто им здесь не мешало, никто на них не оглядывался. Вместе, вместе! Теперь они одни: вдвоем!

- Мой дом! - сказал Андрей и, взглянув на Сашу, повторил:

- Наш дом!

Они стояли у палисадника, и Саша увидела дом с осевшей кровлей, покосившийся, давно не крашенный. Только ставни голубые, веселые. А палисадник маленький, в глубине его пестрая клумба с анютиными глазками и рядом низкая деревянная скамейка.

Андрей отпустил Сашину руку и быстро, не оглядываясь, поднялся на крыльцо. Он толкнул дверь плечом, она отворилась. Будто забыв о Саше, он вошел в сени и окликнул:

- Ты спишь? Мы приехали!

Саша стояла на крыльце и не знала, как быть: идти ли за ним или ждать на пороге.

- Где вы, дитя мое? - услышала она, и старые руки обняли ее, над ней наклонилось сухое лицо, и лоб ей оцарапала щетина небритой щеки.

Николай Петрович был в украинской рубаше с расстегнутым воротом, на глазах поблескивали очки. Обняв Сашу за плечи, он повел ее в комнаты. Коридор обдал Сашу запахом квашеной капусты. Дверь распахнулась, и, раньше чем Саша успела разглядеть комнату, из-за стола неуверенно поднялась женщина. Лицо у нее было доброе, немолодое, на плечах цветастый платок.

- Елена Кирилловна, знакомьтесь, пожалуйста: это Саша, жена Андрея.

"Жена!" Как странно, будто впервые в жизни услышанное, прозвучало это слово.

Лицо женщины пришло в движение, полные щеки поплыли кверху, кожа у глаз собралась в морщины. Она улыбнулась:

- Здравствуйте! Будьте хозяйкой, - засуетившись, сказала Елена Кирилловна. - Да что это я! - она всплеснула руками. - Чаю, молочка с дорожки!

Она засемила в кухню, и даже платок, сползший с плеча, выражал неуверенность и суетливость.

Елена Кирилловна собрала на стол и вдруг, поклонившись Саше, указала ей на место подле Николая Петровича.

- Хозяйкой, хозяйкой будьте! - повторила она. Отец вскинул на Елену Кирилловну виноватые, почти

Страдальческие глаза. "Почему? - подумала Саша. - Что его огорчает?"

Через открытые окна врывался в комнату летний день. От легкого ветра чуть постукивали незакрепленные ставни.

\*\*\*

Разговор то и дело обрывался. Все были смущены. Елена Кирилловна разливала чай, накладывала в тарелки гречневую кашу, то присаживалась к столу, то снова выходила на кухню. И вдруг Саша подумала: кто она им? Все делает по-домашнему, по-родственному. Андрей рассказывал: какая-то женщина ведет у отца хозяйство, отец ухожен. Ведет хозяйство? Нет, наверно, Андрей говорил про кого-нибудь другого. А это - жена. Саша почему-то знала это твердо: жена, хоть отец говорил ей "Елена Кирилловна", а она ему "Николай Петрович".

Андрей же - Саша это тоже почему-то понимала - ничего не знал. И ей вдруг показалось, что она и старше его и умнее. На одну минуту, но показалось.

- Сашенька будет в маминной комнате, да? - спросил Андрей.

- А я там и прибрала уже, - с готовностью отозвалась Елена Кирилловна.

Андрей осторожно открыл дверь в соседнюю комнату. Саша молчала. Не понимала, а чуяла, что держит перед ним какой-то экзамен. А ну как сделаю не то, что нужно, не так посмотрю, не так скажу?

Все тут, должно быть, было как прежде. На стене висела большая старая фотография: женщина с ребенком на руках. На женщине - кружевная блузка с высоким, до подбородка, воротником и большой брошкой. Молодые глаза ее глядели странно, будто издалека. Но лицо милое, с чуть раздвоенным подбородком. А годовалый младенец совсем не похож на Андрея - толстый и смешной, в платице, как у девочки.

На окне трепетала от ветра занавеска. Полы были чисто вымыты. Перед старым пианино стоял круглый вертящийся стул, рядом с кроватью - низкий ночной столик, покрытый чистой скатеркой, а на нем пузырьки с лекарствами. Пузырьки были старые, должно быть, те самые...

В комнате, переполненной солнцем, запахом сирени и свежей листвы, было что-то щемящее, печальное. В высокой чернильнице на письменном столе чернила высохли. Обои выгорели, кое-где отклеились, словно готовы были совсем отвалиться.

- Это ее книги... Вот эту книгу она очень любила - "Лгунишка". Это про девочку, ее прозвали лгунишкой. Когда-то она казалась мне скучной, а прошлым летом я перечитал - это хорошая книга. Хочешь, я подарю ее тебе?

А вдруг я прочту и мне не понравится? А соврать я не сумею, - со страхом подумала Саша. А вслух сказала:

- Спасибо.

Андрей осторожно открыл платяной шкаф.

- Давай разберем наше хозяйство, Сашенька.

Она вздохнула с облегчением и, сев на корточки, открыла чемодан, вынула свое платье и повесила в шкаф, где висели на плечиках два чужих платья. Саша старалась не смотреть на них. Она положила в ящик рубашки Андрея, свое белье и время от времени искоса поглядывала на фотографию женщины в кружевной блузке. "Я хочу полюбить тебя. Но что мне для этого сделать?"

Саша подошла к пианино, повертелась на круглой табуретке, откинула крышку и осторожно тронула клавиши. По-прежнему молчало до-диез, по-прежнему дребезжало фа. Осторожно трогая клавиши, Саша играла посвящение Элизе. Впервые за столько лет в тихом доме зазвучала музыка. Внезапно обернувшись, Саша увидела, что Андрей сидит, закрыв лицо руками. Она захлопнула крышку.

- Андрюша... - сказала она.

Но тут раздался голос Елены Кирилловны:

- А что на обед готовить? Чем побаловать? Гостей, говорят, надо хорошенько накормить поначалу и под конец, а в середине - невелика важность.

Она стояла на пороге, улыбающаяся, настороженная, и сыпала, сыпала словами:

- А топленое молоко любите? Вот Андрюша любит, а вы? Я рыбу свежую купила, ушицы сготовлю.. Как вы ушицу?

...Потом, взявшись за руки, они вышли из дому. Было далеко за полдень, но город по-прежнему казался Саше пустынным.

Впервые им некуда было спешить, впервые перед ними был длинный день, целиком принадлежавший им и никому больше. Там, далеко позади, осталась суতোлка экзаменов, ссора с Константином Артемьевичем, выпускной вечер, на который он не пожелал прийти. Андрей пришел, и все называли его "Сашин летчик". Никто не знал, что накануне, 22 июня, в день Сашиного рождения, они уже побывали в загсе, где пожилая регистраторша сурово спросила:

- А родители знают?

- Мы совершеннолетние! - сухо ответил Андрей. - Моей жене сегодня исполнилось восемнадцать лет, это видно из документов.

На выпускном вечере девочки смотрели на Андрея во все глаза: он так хорошо танцевал и был такой красивый в своей синей парадной форме.

- Пригласи вон ту девочку! - говорила Саша. - Видишь, ее никто не приглашает, а она очень хорошенькая, честное слово!

- Ладно уж! - говорил Андрей и приглашал девочку.

- Имей в виду, - грозно шептала Юля, - никому нельзя говорить, что вы расписались, замужних исключают из школы!

- Я теперь свободная птица, - отвечала Саша, - меня

Теперь неоткуда исключать!

Все, все отступило назад, стало далеким, как само детство: школа, отец, суতোлка московских улиц, гулянье по Москве в ночь выпускного бала, слезы на вокзале...

Сейчас Саша шла рядом с Андреем и не видела ничего, что он ей показывал, - ни домика Циолковского (хоть и очень старалась изобразить интерес), ни Андрюшиной школы. Ей было тревожно. Прежде, стоило ей увидеть Андрея, как все тревоги отступали. Он был тут - чего ей оставалось желать? Все становилось ясно и просто. А нынче... Он был рядом, они были вместе, и утром это так радовало ее. А теперь вдруг стало тревожно, и неясная эта тревога уже не отпускала. Может, это потому, что небо заволокло тучами, а перед грозой ей всегда становилось не по себе?

- Ты не слышишь, Саша? Зайдем сюда!

Она и вправду не слышала. Чуть опьянев от усталости, от жары и необычности этого дня, она посмотрела на него виновато.

- Прости, я задумалась. Зайдем, мне интересно.

И они зашли на рынок, где стояли на лотках горшочки с варенцом, лежали куски масла, обернутые в мокрые тряпицы. А у одной шумной толстой тетки был мешок, полный молодых орехов с тонкой скорлупой. Андрей набил ими карманы и горсть насыпал Саше.



- А теперь хорошо бы па речку! - сказал он.

И тотчас на пыльную дорогу упала первая капля дождя. Калужский дождь был не такой, как в Москве. В Москве пешеходы и под дождем деловито идут и как ни в чем не бывало снуют автомобили и троллейбусы. А здесь он был хозяин в городе, он всех разогнал. Дождь хлынул тяжелый, частый и понес за собой пыль и сор, мостовые забурлили, запузырились, деревья зашумели, улицы совсем обезлюдели, и давным-давно скрылась в подворотне синяя курица.

Разувшись, они побежали к своему дому. В сенях, где пахло квашеной капустой, Саша, смеясь, стала отжимать подол мокрого платья. И вот снова мамина комната. Пол у окна залит дождем. Саша подбежала к распахнутому окну и закрыла его. Дождь застучал по стеклу, в комнату хлынули сумерки. Саша села на низкий диван и подобрала под себя ноги.

Это тоже было впервые - четыре стены, диван, тишина. Они сидели на старом диване, глядя в окно, все в полосах дождя, и молчали, и боялись друг друга.

Чтобы нарушить молчание, которое стало тревожным, Андрей зажег лампу. Он принялся один за другим открывать ящики маленького письменного стола, вынул записную книжку, несколько пожелтевших писем, книгу.

Он, видно, что-то искал. Потом вдруг вытащил из нижнего ящика тетрадь в красном сафьяновом переплете и снова сел рядом с Сашей.

- Взгляни, - сказал он. - Я хочу, чтобы ты прочитала.

На первой странице старой тетради было написано чьим-то отчетливым, крупным почерком: "Дневник".

- А можно? - спросила Саша.

- Конечно. Это про меня.

Склонившись над тетрадкой, они стали читать. Маленький Андрей, Андрей подросток. Вот он пошел в школу... подрался с приятелем... заблудился в лесу... И вдруг: "Андрюше нравится Оля Третьякова. Он не говорит ничего, но я вижу. Сегодня он пришел из школы и еще с порога сказал..."

Саша взглянула на Андрея.

- Ты много раз влюблялся?

- Нет, нет, честное слово! - торопливо сказал Андрей. - В школе один раз, вот в эту самую Олю... Я любил ее довольно долго - до седьмого класса. А потом, в Оренбурге... Понимаешь, я бы, наверно, влюблялся, но один парень... Как бы это тебе поточнее сказать... Храбрый, умный, много старше меня. Я с ним очень дружил. Но он так говорил о девушках... Я не могу тебе повторить. Я знал, что это не правда, но у него не было другого разговора, особенно вечером. Он читать не любил. Танцы или вот этот разговор. Я был рад, когда уехал в часть. А потом в Москве, в академии, на первом курсе была вечеринка. И одна девушка мне немного понравилась. Но все напильсь и стали кричать ей: "Завлеки эту красну девицу" - это про меня. И она не рассердилась на них, а смеялась. И сказала: "Мне это раз плюнуть. Я таких, как он, пачками считаю". И я вдруг поверил во все разговоры.

- И сбежал с вечеринки?

- Да, сбежал. Вот и все. А ты? Ты много раз была влюблена?

- Много, - честно ответила Саша. - В четвертом классе в Колю Лямина, в седьмом - в

Козловского. Что ты смотришь? Ну да, в того самого. В Ивана Семеновича, в тенора.

- А он? - с ужасом спросил Андрей.

- Я боюсь, что он меня даже не видел никогда! - созналась Саша. - А знаешь, как он поет "Я встретил вас"?

Она встала, босыми ногами прошлепала к пианино и наиграла мелодию, тихонько подпевая:

Я встретил вас - и все былое. В отжившем сердце ожило, Я вспомнил время золотое - И сердцу стало так тепло...

Он смотрел на ее кудрявый затылок, на детские плечи, слушал, как она поет, и не верил себе: она здесь... и никуда не уйдет... и завтра, и послезавтра - всегда! Всегда вместе!

- Ну что, молодые, - раздался голос Елены Кирилловны, - постелить вам? Время позднее, одиннадцатый час.

- Что? - словно проснувшись, спросил Андрей. И добавил нахмурясь:

- Я буду спать в столовой.

- Святые угодники! - ахнула Елена Кирилловна. - В столовой! Надо же! Или так по-московскому... - И, наткнувшись на его свирепый взгляд, добавила:

- Ну ладно, ладно, в столовой так в столовой... мы что ж, мы по старинке.

Она положила на диван подушку, простыню и вышла. Саша молча сидела на круглой табуретке и, затаившись, глядела в темное окно. Он видел, что она очень устала. Ему не хотелось уходить, но он сказал: "Ложись, ты совсем спишь", - поцеловал ее в щеку и ушел в столовую.

Саша осталась одна. До этой минуты ей и в самом деле казалось, что она устала и хочет спать. Но сейчас она поняла, что не уснет. Она одиноко сидела на своем круглом стуле и пристально смотрела в окно. Саша слышала, как на улице кто-то стучал в дверь соседнего дома, и различала сквозь шум дождя: "Да ты что, оглохла? Открывай! Долго мне мокнуть?" Слышала, как перекинулись словом Андрей и Николай Петрович. Из кухни еще некоторое время доносилось: "Что ж... обычай... А мы люди старые". Но вскоре умолкла и Елена Кирилловна.

Какой странный день, - подумала Саша. Какой странный, длинный день.

За окном все шуршал, шуршал дождь. Саша постелила себе, легла и потушила свет. Нет, я не хочу быть тут одна. Зачем он ушел? Зачем он оставил меня одну в этой чужой комнате?

Она приподняла голову с подушки и, словно в ответ ее движению, скрипнула дверь. Луч света от уличного фонаря на мгновение осветил Андрея.

- Зачем ты ушел? - спросила Саша и всхлипнула.

Он ничего не ответил. Он крепко обнял ее и прижал к себе.

Они вернулись в Москву через полтора месяца. Саша держала экзамены на филологический факультет университета и, к всеобщему удивлению, выдержала их. Она была принята и, как все добрые люди, стала с первого сентября ходить на лекции. Но, если говорить по совести, это ее не очень занимало: университет, лекции, новые товарищи. Ее занимал Андрей. Ей казалось, что он открыл ей гораздо больше, чем она узнала за всю свою короткую жизнь.

Университет был похож на школу: в школе - уроки, в университете - лекции. Только на дом не задавали.

А все, что дарил ей Андрей, было ново. Уж она ли не любила музыку? Она думала, что по-настоящему любит ее. Саша с Юлей еще с восьмого класса начали ходить на концерты. Едва увидев афишу о концерте легкой музыки, они тотчас брали билеты. Да что, они и "Лунную" Бетховена слышали, и "Патетическую" этим не каждая девочка в их классе могла похвастаться.

Очень весело было в антракте потолкаться в фойе и поглядеть на эту странную, непривычно серьезную публику. Они проникали в партер и, задрвав голову, читали имена композиторов. Одним словом, поход в консерваторию - это всегда было очень весело, и, кроме того, назавтра можно было сказать невзначай: "А мы с Юлей вчера слушали Четвертую симфонию Чайковского. Это та, где есть песня "Во поле березонька стояла".

С Андреем было не так. Он брал билеты на балкон и говорил: "Здесь спокойнее". В антракте он даже не выходил в фойе. Он спрашивал:

- Тебе понравилась вторая часть? Правда, хорошо?

А она не отличала первую от второй, ей было скучновато. Она оглядывала тех, что сидели впереди, и однажды ее долго занимала старушка, которая то и дело клевала носом, а потом интеллигентно оглядывалась, стараясь убедиться, что никто этого не видел. И зачем она ходит сюда? Ведь она не слушает. А я? Я ведь тоже плохо слушаю. Я хожу потому, что он ходит, потому, что ему это надо. Но я ведь далеко отсюда.

- И правда, под музыку она думала обо всем, кроме музыки. Под музыку так хорошо вспоминалось - как она собирала в лесу грибы, как каталась на лодке и как Николай Петрович почему-то сказал ей однажды: "Пейте, пейте молоко, Саша. У вас в Москве нет такого молока, как у нас в Калуге".

Вспомнила вдруг, что не успела отдать в починку туфли, и ужаснулась, что здесь, в этом зале, в такую минуту может думать о каких-то туфлях. Хорошо, что наука еще не дошла до того, чтобы знать, о чем думает человек. А то как бы презирал ее Андрей! Иногда, слушая, он закрывал глаза и лоб рукой, и тогда ей казалось - он не здесь, не с пси.

За что он любит меня? - снова и снова спрашивала себя Саша и с тревогой, осторожно дотрагивалась до его руки. Словно опомнившись, он смотрел на нее прозревшими глазами, улыбался, легонько отвечал на ее пожатие и - отбирал руку, опять уходил в свой недоступный Саше мир.

И вот однажды случилось чудо. В клубе МГУ играл пианист - сухощавый, высокий человек с мурым лицом.

Он вышел на эстраду, сдержанно поклонился и сел за рояль. Зал слушал рассеянно. Даже Андрей. Саша видела это по его лицу.

- Он плохо играет? - спросила она в антракте. Андрей пожал плечами.

- Никак он не играет. Скучно.

Когда началось второе отделение, пианист осторожно прошелся пальцами по клавишам, и Саша с удивлением услышала то, чего не поняла сначала: рояль был расстроен. Нет, быть этого не может! - подумала она.

И вдруг из задних рядов молодой сильный басок сердито крикнул:

- Позор! Заставлять артиста играть на такой разбитой старой калоше!

Пианист повернул к залу лицо, коротко улыбнулся, еще раз, теперь уже нарочно, тронул ноту, которая фальшивила, - на этот раз ее услышали все, потом взял аккорд, чуть подумал и заиграл. Должно быть, он ощутил добрый ток, который прихлынул к нему из зала, только Саша вдруг услышала, что теперь он играл иначе. И кажется даже, это был другой человек, совсем не тот, что играл в первом отделении. Какой это был человек, Саша не знала, но теперь она слышала его. Кто-то взял ее сердце в руку и сжал. Она услышала музыку и увидела, если можно увидеть, то, о чем рассказывает музыка.

Это был "Карнавал" Шумана. Праздничная пестрая толпа хлынула ей навстречу, и они с Андреем затерялись в потоке карнавальных масок, в потоке мимолетных быстро сменяющихся друг друга звуков - нежных и задорных, веселых и печальных. То она кружилась в веселой танцевальной суматохе, то слышала слова признания, то, перестав видеть, думать, крепко переплетая пальцы и забыв обо всем, вслушивалась в мелодию Киарины.

Зал аплодировал долго, горячо. Артист выходил снова и снова, и снова садился за рояль и щедро играл. Да, он возвращал слушателям то, что они нынче подарили ему, то, без чего он вышел в этот вечер к роялю.

С того вечера концерты в консерватории стали для Саши праздником.

Может, я Душечка? - думала иногда Саша.

Вот, например, еще в Калуге, в середине июля, Андрей прибежал к ней с "Комсомольской правдой":

- Посмотри... Испания...

На четвертой странице было всего несколько строк: фашистский мятеж в Испанском Марокко... Мятежники высадились в Гибралтаре...

С тех пор она вместе с ним жадно ловила все, что писали и говорили по радио о событиях в Испании. А события ширились, росли, с четвертой газетной страницы перебрались на вторую, на первую. Они взывали ко всем, и слова из песен и книг вошли в каждый дом - Севилья, Барселона, Астория...

В июле Чкалов, Байдуков и Беляков совершили свой беспосадочный перелет. И почти двое суток Андрей не отходил от репродуктора. Глядя на него, Саша думала: вот и я когда-нибудь стану ждать известий о самолете, на котором, будет он. Я жена летчика...

Да, я на все смотрю его глазами, - думала она.

Но это было не так. Он просто дарил ей свой мир, и она все свободнее жила в этом мире и радовалась ему.

Андрей, наверно, тоже был чеховской Душечкой.

Все, что касалось Саши, было ему не то что интересно - драгоценно. Он вместе с ней читал "Слово о полку Игореве" и статьи Гудзия о протопопе Аввакуме. Он легко и просто вошел в мир, который прежде она открывала только Юле.

На Арбате, неподалеку от их Серебряного переулочка, был игрушечный магазин. Когда Саша была маленькая, она подолгу застывала у этой ослепительной витрины, где стояли в своих коробках красавицы куклы и смотрели на нее отрешенно и загадочно. Но одна была лучше всех - в золотых башмачках. У ее ног лежал сервиз. На маленьких чашках - голубые незабудки. Кукольная мебель тоже была прекрасна: круглый стол, шкаф и четыре кресла. На

все это великолепие можно было глядеть часами. И она глядела, прижав нос к стеклу и недоумевающая: так близко и так недоступно.

И вот однажды Саша махнула на все рукой. Не потому, что нагляделась или насытилась, нет, просто она вдруг поняла: это безнадежно. Никогда, никогда у нее не будет такой куклы, такого сервиза. Этот мир за толстым стеклом недоступен, недосыгаем.

Саша стояла спиной к витрине и задумчиво глядела на противоположную сторону улицы. И вдруг увидела: окно дома напротив, рядом с рыбным магазином, распахнулось. Его распахнул человек с молодым лицом и седыми волосами. Он заметил Сашу и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. Он помахал рукой. Она не осмелилась ответить тем же. Саша поняла, что это - волшебник. У него было такое лицо, что не понять этого было нельзя.

И тогда она сказала: "Если ты волшебник, сделай так, чтобы эта кукла в золотых башмачках была моя".

- И вот думай, что хочешь, - говорила Саша Андрею. - Думай, что хочешь, а ко дню рождения тетя Маргарита подарила мне эту куклу.

- А ты видела его еще когда-нибудь?

- Да. Он часто стоял у окна и глядел на улицу. Задумчиво так. И если замечал меня, улыбался и махал рукой. А иногда рядом с ним стояла молодая женщина. Но теперь их давно не видно. Уже несколько лет.

Саша понимала, что нельзя искушать судьбу, и редко обращалась к волшебнику с просьбами.

Но теперь ей казалось, что задуманное исполнялось всякий раз.

- Вот хочешь - верь, хочешь - не верь... - говорила она.

Андрей верил.

Смеясь, но очень внимательно он слушал о том, как она не только в детстве, не только в десятом классе, но и теперь сочиняет для себя неслыханный, очень красивый наряд.

- Это будет светло-лиловое платье, как в старину, - широкое, все в складках, складках. Понимаешь, не расклешенное, а в складках, складках!

- Очень понимаю! - серьезно отвечал Андрей.

- И туфли тоже должны быть лиловые или в крайнем случае светло-сиреневые. Ты понимаешь разницу между лиловым и светло-сиреневым?

А он глядел на нее и думал: зачем тебе лиловое платье? И сиреневые туфли? Что может быть лучше твоих спутанных кудрявых волос, небрежно причесанных, иногда закрывающих лоб, и этой ямочки на щеке, и яркого, чистого румянца, и широко распахнутых синих глаз... Он и сам понимал, что думает чересчур красиво, но он не мог думать иначе и мечтал о том времени, когда купит ей это самое лиловое платье и много, много других.

Не только для нее, для него тоже все было ново, неизведанно. Каждый день был как подарок. А потом в их жизнь вошла новая радость, новая забота и первая в их общей жизни тревога.

Они ждали ребенка.

На улицах было скользко.

Когда Саша долго не возвращалась, Андрей стоял у окна и глядел на улицу. Опять была пора экзаменов - зимних. Куда от них деваться? Чтобы не терять времени попусту, ожидая жену, молодой будущий отец занимался на подоконнике: взгляд в книгу, взгляд в окно.

- Ну что? - говорил, открывая дверь, Сашин отец (кажется, он ему тесть). - Поглядываешь в окошко? Гляди, гляди! Тоже дело - не хуже других.

- Константин Артемьевич, - сухо отвечал Андрей. - Я не могу заниматься при электричестве. Я ловлю остатки дневного света.

- Лови, лови! - говорил тесть и хлопал дверью. Он не любил лукавства.

Завидев Сашу, Андрей выбежал на улицу без шинели, рискуя, что его заберут в комендатуру. Двор был скользкий: гололедица. Он бежал ей навстречу, сердитый и растрепанный.

Почему он сердился? По многим причинам. Она должна беречь ребенка. Это раз. Второе: если б она уходила по делу, по серьезному делу, он бы слова не сказал. Но она бегала по каким-то пустякам, - да, теперь это казалось ему пустяками: навещала подругу, шла в гости - к своей прежней учительнице или к старой тетке на другой конец города.

- Сколько у тебя знакомых? Оля, Коля, Воля, Толя, - спрашивал он со злостью. - Ты не смеешь, не смеешь - и все, - говорил он ей, когда они поднимались по лестнице. - Я боюсь, - говорил он на первом этаже.

На втором она оправдывалась. На третьем он говорил:

- Всех разгоню к чертям.

На четвертом у дверей они целовались, и возмущенный Константин Артемьевич, открывая им дверь, говорил:

\*\*\*

- Кто тебя воспитывал, Саша? Это просто неприлично - целоваться на лестнице.

По вечерам Андрей и Саша придумывали имя своему будущему сыну.

- Борис! - говорила Саша.

- Борис? Через мой труп! Ты думаешь, я не понимаю, почему ты хочешь назвать его Борисом?

- Ничего подобного! - отвечала она.

- Ага! Однако поняла, о чем идет речь! - ликовал он, поймав ее на слове. - Но я ведь тебе рассказывала: я была влюблена в Колю Лямина, в Козловского и еще в Толю Кириллова. Никакого Бориса ее было.

Помолчав, она робко говорила:

- А если девочка?

- О девочке и не заикайся!

- Ты нас вытолкаешь на улицу? - с любопытством спрашивала Саша.

- Ты сама не понимаешь, что говоришь! - уже громко возражал Андрей.

- Мать спит! - открывая дверь без стука и тоже очень громко говорил Константин Артемьевич.

- Я не сплю! - откликнулась из соседней комнаты теща. - Но все устали, давайте спать!

Оттуда же, из-за двери, раздавалось фыркание, это фыркал Леша. Ему было тринадцать. У него были свои понятия о том, что такое любовь. Вообще говоря, он считал, что любви нет, но уж если, допустим, она есть, то это, конечно, не ночные вопли о том, как назвать какого-то младенца, который и на свет-то еще не родился.

Это была многолюдная семья. Кроме отца, матери и брата, у Саши были три тетки и сколько-то дядьев. Андрей никак не мог усвоить, сколько и чем они друг от друга отличаются.

- Сашенька, - задумчиво опрашивал он, - а кто такой дядя Сурен, это тот, что в Эривани?

- Ну, Андрюша, как же ты не понимаешь! - огорчилась Саша. - Дядя Сурен в Милютинском переулке, а в Эрипани дядя Гурген.

Молчание.

- Саша, а кто прислал тебе туфли: дядя Гурген или дядя Сурен? :

- Ты просто дразнишь. Ты прекрасно знаешь, что туфли подарила тетя Вера. А дядя Гурген подарил тебе часы,

И ты мог бы это запомнить.

Да, он помнил. Слов нет: его приняли в семью как родного. Никогда в жизни он не получал столько подарков. Сашина родня заново ему объяснила, что такое день рождения, Новый год и Первое мая. А Восьмое марта! О, оно ему тяжело далось! Он догадался подарить мимозу Саше и кофейник теще, Нине Викторовне. Но он не подумал (недопонял! - сказал он себе), что надо было одарить и тетю Веру, а главное, тетю Маргариту, которая уже сейчас отказала ему две старинные золотые пятерки. На них так и было написано: "Пять рублей золотом. 1823-й год". Эти монеты мог держать в руках Пушкин, Лермонтов подумать только! И вдруг он услышал:

- Это тебе на золотые зубы.

- А зачем мне золотые зубы? - спросил он растерянно.

- Вырастешь, узнаешь! - сверкнув золотым зубом, насмешливо ответил тесть.

Ничего не скажешь - это была дружная семья. Если кто болел, все ухаживали за ним, приносили фрукты и лекарства, дежурили у постели и вызывали врачей. Если кому нужны были деньги, их доставали из-под земли. Если в этой большой семье неладно жили муж и жена, их сообща пытались мирить. Все это было хорошо. Плохо было только одно: Андрея наперебой учили жить и лишали свободы. Он подарил свою свободу одной лишь Саше, он не дарил ее ни тете Маргарите, ни тете Вере, но именно тетя Вера, жена того дяди, что из Милютинского переулка, говорила:

- Ты легкомысленно относишься к Сашиному положению: ей нужны витамины.

- Нет, самое главное - эстетические впечатления, - говорила тетя Маргарита. - Гравю-у-у-ры, - добавляла она таинственно.

А тесть был глубоко оскорблен, когда Андрей захотел внести в общий котел свою стипендию.

- Плевать мне на твои деньги, - сказал тесть, шевеля лохматыми бровями.

- Но я не собираюсь сидеть на вашей шее. Я совершеннолетний, высокомерно ответил Андрей.

- Моя шея выдержит и тебя и Сашу. Перестань, пожалуйста.

\*\*\*

- Не будет этого, - твердо сказал Андрей. И вдруг из кухни послышались всхлипывания.

- На шее! - рыдала теща. - Скажет тоже!

К теще Андрей относился хорошо. А кроме того, он не мог видеть женских слез.

- Нина Викторовна, - сказал он. - Ну что вы, право!

- На шее! - рыдала теща и отворачивалась от него. На шее! Подумать только, что здесь обидного? И он сдался.

У него было семьсот двадцать пять рублей в месяц - деньги немалые. В первую же стипендию он купил башмаки Леше и теще. В другой раз - шерстяную кофту теще. Потом оклеил новыми сбоями всю квартиру и купил шесть стульев старые были уже ни на что не похожи.

Он очень хотел ради Саши жить жизнью ее родных, ведь она их любила.

И вот наступил день рождения Константина Артемьевича. Андрей прочитал антологию армянских поэтов (он все любил делать обстоятельно) и приготовил тост. Когда все уселись за стол, Андрей поднял бокал.

- Подожди, подожди! Где же пирог? Ах, вот он! Ну, все в порядке! воскликнула теща. - Простите, Андрюша!

Сглотнув, Андрей снова поднял бокал.

В передней раздался шум. Нина Викторовна суетливо выбежала из-за стола, послышались приветственные возгласы и басистый голос тети Маргариты.

- Марго, привет! Почему опаздываешь? - воскликнул Константин Артемьевич.

Стол загудел: все здоровались с тетей Марго.

- У Андрея есть тост, - сказала Саша.

- Ах, тост! Ну как же без тоста? Помню, однажды... - сказал дядя Сурен.

- Нет, погодите! Когда Леша был маленький и поправился после поноса, ему еще как раз исполнился годик...

- Мама! - Леша с грохотом отодвинул стул.

- Леша, Леша, ну что ты обижаешься? Не надо портить папино рождение! Вот Андрей хочет сказать тост! Садись, Лешенька!

Леша сел темнее тучи.

Андрей в третий раз поднял рюмку с вином.

Раздался телефонный звонок.



- Это, наверно, меня кто-нибудь поздравляет. Уверен! - сказал Константин Артемьевич, вставая.

Через минуту из передней послышался его сочный голос, он благодарил сослуживцев за внимание и просил их тотчас пожаловать к столу.

- Подождем немного, дорогие, - сказал он, возвращаясь в комнату. Давайте раздвинемся, придет еще пять человек, может и шестого прихватят, это еще неясно.

Все опять засуетились. Не хватало стульев - их принесли от соседей. Не хватало тарелок и рюмок, но Леша сбегал к знакомым через площадку и принес кучу посуды.

Что долго рассказывать? Андрею так и не удалось произнести тост - все долго спорили, открывать ли шампанское, тем временем подоспели новые гости. Раздались новые приветствия, и, наконец, тетя Марго произнесла тост в честь своего дорогого брата.

Андрей с грустью думал о том, как ладно и без суеты праздновались в доме его детства дни рождения и Новый год. Там тоже собиралась семья, приходили гости - и беседа была веселая, но никто не перекрикивал друг друга, и никто не рассказывал о том, как у маленького Андрюши болел живот...

\*\*\*

И еще: никто никогда в родительском доме не читал чужих писем, а тут Константин Артемьевич протянул однажды Андрею распечатанное письмо.

- Почему оно распечатано? - удивился Андрей.

- Как почему? - ответил Константин Артемьевич с не меньшим удивлением. - Мы, кажется, не чужие. Тебя не было дома, а я хотел знать, как здоровье Николая Петровича.

Андрей прикусил губу и смолчал.

Бельем ведала Нина Викторовна. И громко советовалась с Сашей за чаем:

- Надо бы прикупить мужчинам кальсон.

Андрею очень хотелось, как Леше, отодвинуть стул, оттолкнуть чашку с чаем, встать и уйти. Но он жалел Сашу. Ее нельзя было огорчать. Ладно, думал он, - вот кончу академию, мы уедем. Будем жить одни. А как же Сашин университет? Ну, ничего. Она будет учиться заочно. Это еще интереснее: вместе читать, вместе готовиться к экзаменам. Я кончу университет вместе с ней.

\*\*\*

А пока Сашу надо было беречь. И гулять с ней. И они гуляли вечерами по своему Серебряному переулку, спускались по бульварному кольцу к Никитским воротам, сворачивали на Спиридоновку и шли к Патриаршим прудам. Он крепко держал ее под руку, было очень скользко. Они шли вдоль замерзшего пруда и старались не смотреть на скамейки. Там сидели влюбленные. Снег, ветер, а им все нипочем.

- Говорят, на свете есть такой город, где чтят влюбленных, - сказал Андрей. - Если они целуются посреди улицы, машины их объезжают.

- Париж?

\*\*\*

- Да, наверно.

- Давай будем чтить влюбленных, - сказала Саша,

- Давай. Посмотри, они никого не видят. Им кажется, будто их окружают высокие стены.

- И нам так казалось. - Мне и сейчас кажется.

Он крепче сжал ее руку и вдруг спросил:

- Послушай... А ты не боишься?

- Нет, не боюсь.

- Ты у меня храбрая!

- Нет, это от недостатка воображения. Понимаешь, вот, бывало, надо идти к зубному врачу. И девочки уже недели за две начинают бояться - как они сядут в это страшное кресло, как загудит эта страшная бормашина. А я ни о чем таком не думала. Вот начнется - тогда, наверно, забуюсь. а чтоб заранее представить себе и страх, и боль, и как это все будет, - надо иметь воображение. А у меня его нет. Понимаешь? Это не от храбрости, а от бездумности. А может, это хорошо? Ну скажи, зачем мне думать о страшном? Давай лучше думать, как мы будем чтить влюбленных.

- С чего мы начнем?

- Во-первых, мы никогда не будем пялить на них глаза. Целуются - и пусть целуются. Мы никогда не будем говорить: "Сумасшедшие!", или: "Молодые люди, как не стыдно!", или: "Да посторонитесь, загородили дверь!" Ты помнишь, как нам сказал милиционер в Нескучном саду?

- Ну как же: "Парк закрывается, попрошу освободить территорию!"

Они засмеялись. Им тоже ни до кого не было дела тогда. Они стояли в подъездах, сидели на скамейках бульваров, шли по улицам, взявшись за руки.

Вот и сейчас они идут и думают об одном и том же, и Саша ничуть не удивляется, когда слышит голос Андрея: он говорит слово в слово то, что она хотела сказать:

- А через два года мы пойдем по этому бульвару, а впереди побежит малыш...

- Это будет мальчик?

- Непременно. И когда ему исполнится шесть лет, мы начнем собирать марки. Будешь вместе с нами собирать марки? Почему ты молчишь?

- Я хочу спросить тебя... Не сердись... Видишь ли, очень редко, но бывает... Если... если вправду со мной что-нибудь случится...

- Замолчи!

\*\*\*

Она остановилась, подняла к нему лицо.

- Нет, послушай. Я хочу, чтоб ты знал, что мне было хорошо с тобой. Очень. И еще...

- Замолчи!

- Андрюша...

- Замолчи!

Он положил ей руки на плечи. Саша совсем близко увидела его потемневшие глаза.

- Я не хочу слушать. Я не могу жить без тебя. Я не знаю, как я жил до сих пор. Целых двадцать три года! Я не могу. Понимаешь?

Здесь работают круглосуточно. И ночью в раздевалке сидит швейцар. Ночью усталый врач выходит покурить. Молодой, а ему уже успели надоесть отцы, мамы, бабушки и пуще всего - крики и стоны будущих матерей. Всегда одно и то же. Каждая - и ученая, и артистка, и молоденькая продавщица из магазина готового платья - кричит одно:

- Мама! И еще:

- Доктор! Подойдите ко мне! Доктор!

Как будто он сам не видит, к кому подойти, а к кому подходить рано.

На третий месяц работы в родильном доме он усвоил привычку ходить среди стонов и криков, слез и жалоб со скучающим выражением лица. Это у него очень хорошо получалось. Рассеянными глазами он глядел куда-то поверх тех крыш, что видны из окон. Наверно, когда-нибудь жизнь проучит его. Ведь и врач родильного дома должен когда-нибудь стать отцом.

Под окнами больницы он, конечно, стоять не будет. Не будет маяться ночью в вестибюле. Нет, конечно. Но и ему будет тревожно и страшно, будет непременно - жизнь проучит скучающего врача. Но, наверно, не научит ничему. К чужой боли нельзя привыкать, а уж если привык или, того хуже, - заскучал, пиши пропало: нет человека.

- Папаша, - говорит он Андрею, - идите-ка домой и ложитесь спать. Здесь вы все равно ничем не поможете. А ночью надо спать. И видеть сны... среди весны...

И врач изображает зевок. Зевок у него хорошо выходит.

Быстро научился!

Кулаки Андрея сжимаются в карманах шинели. Если бы этот человек не был врачом и от него не зависели бы жизнь и здоровье Саши, этот врач запомнил бы молодого папашу. Пожалуй, он бы и скучать перестал. И пусть бы даже отчислили из академии - наплевать.

Врач ушел. Андрей смотрит сквозь стекла больничной двери. Пол в приемной выложен белым кафелем - так бывает в ванной... На вешалках - пальто врачей и докторские халаты. Вместо швейцара сидит девушка в белом халате и белой шапочке. Она дремлет. Перед ней раскрытая книга. Голова опускается. Девушка вздрагивает, оглядывается, Андрей видит сквозь стекло ее испуганные глаза. Он потихоньку стучит в стекло. Девушка подбегает к дверям.

- А где роженица? - спрашивает она, распахивая дверь.

- Наверху! - говорит Андрей так сердито, будто девушка виновата в том, что Саша мучается. - Как вас зовут? - спрашивает он.

- Ольга, - отвечает девушка.

- Олечка, - говорит Андрей, - я вам вот что скажу. Я здесь посижу и покараулю пальто, а вы

сбегайте наверх. Александра Константиновна Москвина.

- Нет, уж я вас попрошу, папаша, уйдите. Как бы не было неприятностей.

- Я буду честно беречь пальто, - обещает Андрей.

- Я знаю. Только сидеть здесь ночью не полагается... Пожалуйста, очень прошу, - отвечает девушка.

- Олечка! А вы что читали, что-нибудь интересное? - спрашивает Андрей.

- Да нет, ведь это учебник алгебры. Я занимаюсь в вечерней школе.

- Ага, - говорит Андрей и присаживается на скамейку. - Хотите, решу вам любую задачу?

- Отец, - говорит она, - уйдите. Меня сократят с работы. Вы что, этого добиваетесь?

- Это ко мне не относится, - отвечает Андрей. - Я еще не отец. Если вы мне официально сообщите, что я уже отец, я уйду.

В коридоре слышатся чьи-то шаркающие шаги и стук палки. В приемную входит доктор Гуревич. Он стар. Он немного волочит правую ногу. Из-под меховой шапки беспомощно, как у ребенка, свисает прядь прямых волос. Они седые. Из-под усталых век линиялые голубые глаза без всякого удивления смотрят на растерявшегося Андрея.

- Непорядок, беспорядок! - говорит он. - Это верно" ее сократят, вот я сам возьму и сокращу. Идите, идите домой. - И доктор надевает халат, который подает ему Оля. - Идите, идите, молодой человек. На дворе хорошо" снежок. Александра? Так... Москвина? Так... А как же, конечно, помню. Ну что ж я вам скажу? Родится Москвин. И будет ухаживать за молодыми девушками точно так же, как вы ухаживали за его мамой...

Андрею хочется наклониться и, взяв за руку этого старого человека, повести его наверх. Ему хочется объяснить доктору, что там мучается Саша. Если он скорее поднимется, Андрею будет спокойнее.

- Не могу, не могу уйти, - сквозь зубы объясняет Андрей. - Сам не знаю, какая-то чертовщина. Не могу, и все.

Старику становится жалко старшего Москвина.

- Да что уж так! - говорит старик. - Обойдется. Или у вас есть какие-нибудь основания для беспокойства?

- Есть! - отрезает Андрей. - Она, понимаете, очень молодая. Хрупкая. Маленькая.

- Прекрасно! - вздохнув, говорит доктор. - Молодая - это лучше. Молодая - это очень хорошо. Уж поверьте.

Он уходит. Сквозь стекла дверей Андрей видит его удаляющуюся спину, сутулые плечи.

Андрею становится страшно. Любовь, сострадание, страх не дают ему дышать. Он сидит на скамье в приемной, заслоня лицо руками, до крови закусив губу. А против него стоит растерянная девушка-швейцар.

- Ладно, сидите, - говорит она и на цыпочках уходит к своим вешалкам.

В приемной тихо. Не долетает сюда шум с улицы. Тут не слышно, что делается на верхних этажах. Ночь. Глухая, поздняя ночь.

В двери стучатся. Оля бежит открывать.

Той, что пришла, должно быть, лет тридцать. Ее провожает чужая женщина. Она называет свою подопечную Алевтиной Ивановной.

Белье, - говорит Алевтина Ивановна. - Белье в корыте. Я замочила, а постирать не успела. Закиснет.

.. - Выстираем, выстираем, - говорит чужая женщина. - Вы только не беспокойтесь.

Алевтина Ивановна идет к той лестнице, по которой недавно шел доктор Гуревич, по которой три часа назад поднималась Саша.

- Подождите одежду, - просит она соседку. И закусывает губу. Дойдя до лестницы, опершись рукой на перила, она оглядывается, смотрит назад, и в глазах у нее боль, тоска, растерянность. Исподлобья глядит она на снег за оконными стеклами. - Белье! - повторяет она. - Не успела... - И, почти повиснув на тонкой Олиной руке, с трудом идет вверх.

- Есть, которые осуждают, - говорит соседка, - а я говорю: ну что ж? Они, конечно, не зарегистрированные. И, по правде сказать, мы только два его и видели. Он уже с полгода, пес такой, глаз не кажет. Эх, мужики, подлецы! - И вдруг, искоса взглянув на Андрея, спохватывается:

- Конечно, мужик - он разный. Ну, а этот - плохой мужичонка. Безответственный. Погулял и бросил.

- То есть как это бросил? - спрашивает Андрей.

- Обыкновенно. Как бросают? Походил, походил и бросил.

- А ребенок как же? - спрашивает Андрей.

- Да что ж ребенок? Главное - мать. А мать всегда при ребенке.

\*\*\*

- Почему же главное - мать? - тупо спрашивает Андрей.

- А вот так, обыкновенно. Ты носил? Может, это ты рожашь? Кричишь, стонешь? Может, это ты будешь кормить? Вот то-то. Ты, милоч, на скамеечке прохлаждаешься, а она... Вот оно какое дело, милоч.

Что верно, то верно. Он сидит тут на скамейке, а она наверху мучается.

- Олечка, милая, - говорит он девушке. - Александра Москвина. Вы только подойдите и скажите: "Он тут. Не уходит и не уйдет".

- А ну вас, не пойду, - отвечает Оля и скрывается за перегородкой.

Сидя внизу на скамейке, он крепко зажмуривается... Мысленно поднимается вверх по лестнице. На второй или нет - на третий этаж. Ему сказали: родилка на третьем. Он открывает дверь и говорит: "Саша".

Он говорит ей все то, чего не успел сказать. "Мне без тебя никак невозможно, - говорит он. - Я не могу без тебя. Не могу".

Он ищет других слов, но не находит. "Я без тебя не могу". Вот все, что он может сказать.

В прихожую выходит женщина-врач. Она снимает белую шапочку и встряхивает рыжими волосами.

- Александра Москвина, - безнадежно спрашивает Андрей, с трудом шевеля губами.

- Как же, как же! - отвечает доктор. - Александра Москвина. Вы Москвин? Поздравляю, у вас родилась дочка.

- Потише, потише! - говорит толстая нянечка, проходя мимо Саши.

- Мама! - зовет кто-то.

- Теперь мама! А раньше-то что? Небось не вспоминала мамашу? - говорит нянечка.

Прижав ладонь к щеке, Саша дремлет. Потом просыпается от боли. Рядом с ней слышится бормотание, похожее на тяжелый бред.

- Трава, понимаешь, трава... Я говорю: кликну брата, а он говорит: кличь...

Саша опять засыпает. И вдруг все, что было: детство, Андрей, ее любовь, жизнь, воспоминания - все превращается в звон, боль, крик.

Она стыдится своего крика, пугается своего голоса - он не похож на ее обычный голос.

- Ну, вот и все! - вдруг говорит доктор Гуревич. Из-под белой докторской шапочки весело смотрят блеклые голубые глаза. - Девочка!

- Какая? - спрашивает Саша. - Хорошая?

- Еще бы! Отличная! Весьма прекрасная! - отвечает врач.

- Покажите! - требует Саша.

Вот она, ее дочка, ее ребенок. Она знала ее очень давно. С этими вот волосиками, которые прилипли к большому выпуклому лбу. С этими удивленно глядящими на нее темными глазами. Дочка облизывается. Она молчит. Саша разглядывает дочкины ножки, маленькие, жалкие руки.

- Хватит, хватит, мамаша, - говорит нянечка.

- А что у нее на ручке? - спрашивает Саша.

- Номерок. Тридцать семь, - говорит доктор.

- Когда родишь пятнадцатого, напишем миллион, - говорит нянечка.

Дочка орет. Ее дочка. "Я! - кричит Сашина дочка. - Я! Я! Я!"

Да, это ты, - думает Саша. Моя милая, моя хорошая. Андрюшина дочка.

В первую же секунду, увидев лицо своей девочки, Саша поняла, что дочь похожа на Андрея. Потом сотрется это первое воспоминание. Потом все будут вместе с Сашей гадать, на кого похожа дочка. Но в ту первую секунду, взглянув на красное, сморщенное личико, она узнала в нем Андрея - сходство было отчетливым, ясным, пронзительным.

- А что делает моя дочка? - спрашивает Саша.

- А известно что! Пошла с кавалером под ручку гулять по улице Горького! - отвечает нянечка.

Это было первое утро новой девочки. Она встретила его криком, приветствовала его отчаянным воплем. В ту ночь в этом маленьком родильном доме появилось на свет двенадцать ребятишек. Они были похожи на кукол. Или на мумий.

Говорят, все новорожденные на одно лицо: красные, сморщенные, лысые. Ну, это как когда. Не все красные и сморщенные. Вот по правую сторону от девочки Москвиной лежит мальчик Сорокин. Он кудрявый. Родился с длинными волосами - и это умиляет всех, даже нянечек.

- Ишь ты, лохматый! - говорят о нем.

По другую сторону от Москвиной лежит Захарчук. Он родился в сорочке. Это бывает редко. Из десяти только один рождается в сорочке. И старые нянечки докладывают матери: "Счастливым! Родился в сорочке!" По народному поверью, не выброшенная сорочка хранит воина от ран, приносит счастье в семейной жизни, сулит богатство. Но тут не сохраняют рубашку новорожденного. И только няни между собой говорят:

- Ишь ты, родился в сорочке!

Новорожденные плачут, будто жалуются. Сегодня их первое утро, они еще не научились жить.

Молочными своими глазами смотрит Москвина на белый свет, на свое первое в жизни солнце. Наука говорит, что новорожденные видят все вверх ногами. Но может, это не правда? Москвиной нравится солнце, и она внимательно смотрит на него.

- Если бы ты знала, как беспокоился сегодня ночью твой папа! - говорит старый доктор. - Как он боялся! Такой высокий военный, красивый... Да... тебе не понять!

А может, она понимает? Она морщится, жуёт губами и принимается реветь. Она набирает силу и ревет уже гораздо громче, чем ночью.

- Ну что ж, доброе утро! - тихо говорит доктор. Его никто не слышит, только вот эти, для которых это доброе утро - первое в жизни.

Да, сегодня все его уважают. Не то, что вчера! Вчера его отсюда выталкивали, вчера его презирали и никто не хотел с ним говорить. Сегодня он отец. Отец Москвин. Все смотрят

На него одобрительно. Порядок: принес бульон. Ему говорят: "Папаша, шоколад возьмите обратно, шоколаду нельзя".

Удивительно: почему нельзя шоколад? На стене он читает: передавать разрешается фрукты, бульон, цветы.

Цветы! Ей нужны цветы! Да где же он их возьмет? Однако раздобыл. Сегодня все его любят. Когда он сказал: "Извините, но у меня родилась дочь..." - как все заулыбались: продавщица, кассирша. Не улыбался только старый

Садовник.

- Нашел чему радоваться, - сказал он хмуро. Однако собрал букет. Принес его откуда-то снизу. Это была сирень. Белая, будто восковая. Зимняя, без запаха, но все-таки сирень.

- Нет ли ландышей? - спросил Андрей, и все посмотрели на него как на сумасшедшего.

- А ты в следующий раз к маю подгадай, будут тебе ландыши! - мрачно ответил садовник.

- Спасибо! - сказал Андрей и побежал к Саше.

И вот он здесь. В третий раз за сегодняшний день. Родильный дом - уже не женское царство. Сегодня здесь царят отцы.

- Папаша Вздыхалкин! Вам записка! - кричит Оля. Папаша Вздыхалкин могучего роста, усатый. Через головы он протягивает огромную лапу и говорит: "Отдай!"

- Девочка, - сообщает он окружающим, - опять девочка. Пятая по счету. Ну что будешь делать?

- Так это же хорошо! Отлично! - говорит Андрей. - Я, например, очень хотел девочку.

- Много ты понимаешь! - махнув рукой, отвечает Вздыхалкин. - Сын для отца - это...

- Ясно, кормилец! - подхватывает чья-то бабушка.

- Мальчик - не девочка, - объясняет папаша Караваяев. У него родилась двойня и оба - мальчики. Вот счастливец!

- Оля! - говорит Андрей. - Подите-ка сюда! Сегодня он разговаривает с ней по-свойски, сегодня он от нее не зависит.

Оля разворачивает цветы, снимает бумагу и взвизгивает:

- Сирень! Смотрите, сирень!

Девушка в белом халате стоит на ступеньке и, забыв о корзине с бульонами, задрал голову, смотрит на цветы. Зимняя, без запаха, это все-таки сирень. И все улыбаются этой зимней сирени, словно увидели что-то робкое, незащищенное, но прекрасное.

- Сирень, сирень, сирень, - проносится среди отцов и бабушек.

Оля взбегает по лестнице с сиренью в руках, оставив внизу корзину с бульонами и фруктами. Никто на нее не сердится; записки она унесла в кармане.

- Сирень! - кричит Оля, вбегая в палату. - Сирень! Сирень!

Первый час. Внизу посетителей все больше и больше. Открываются двери, входят пятеро молодых военных. Видно, все отцы. Народ вокруг затихает.

Халат! - отделившись от всех, требует их старший. Оля в недоумении:

- Какой такой халат?

- Мы пришли от академии. Навестить молодую мать Александру Москвину.

Тут Андрей открывает глаза. Ожидая от Саши ответа, он задремал на скамейке и вдруг видит своего друга Володю и с ним еще четверых ребят со своего курса.

- Очумели! - невежливо говорит Оля. - Тут вам что - обыкновенная больница? Тут родильный дом, кто вас пустит наверх? Там у нас все стерильное.

- Даже меня не пускают, - жалуется Андрей.

- А-а! Привет отцу! Привет папаше! - в один голосуют все пятеро. Качать его!

- Очумели! - кричит Оля. - Где вы находитесь? Сейчас выведу!



Пятеро товарищей хоть и похлопывают Андрея по плечу, но глядят на него растерянно. Никто из них не понимает, что надо говорить в таких случаях.

Шум стихает, чтобы вспыхнуть опять: пришли Сашины подруги. Молодежь стоит в уголку, оттуда слышится смех, Андрею не по себе. Странно, неужто сегодня жизнь на земле та же, что и вчера, и у людей те же заботы, желания?

Сегодня что-то случилось с Андреем: большое, таинственное. Он стал отцом. И сейчас, глядя, как Володя разговаривает с Сашинной подругой Юлей, Андрей думает: ну, что он... Куда он пришел, право? А Юля-то, Юля! В семье такое событие, а она хоть бы что - занята Володей. Мимоходом сказала: "Поздравляю" - и все.

- Ну, давайте, давайте подарки! - говорит Юля. - Мальчики, я надеюсь, вы догадались что-нибудь принести? Апельсины? Чудно! Испанские! Шоколад - не пойдет. Вы что - читать не умеете? Боже мой, Андрей, погляди!

Развернув бумагу и громко смеясь, она показывает матросский костюм, который в пору разве что пятилетней девочке, и красные башмачки со шнуровкой.

Все хохочут.

- На вырост! - слышится голос какого-то опытного отца.

- Умора! - смеется чья-то бабушка.

- Я бы сказал - дальновидно! - подмечает какой-то мужчина в пенсне.

В корзину укладываются туфли, платье, апельсины, кукольная мебель, погремушки, яркий целлулоидный попугай и большой мяч.

Присев на корточки, Юля наводит в корзине порядок.

- Гражданочка, попрошу изъять все это, - сухо говорит Оля. - Вы что, дети? Это ж родильный дом! Вы бы двух колесный велосипед купили!

- А когда вечеринка? - шепчет на ухо Андрею Володя. Андрей опешил:

- Какая вечеринка?

- Ну, sprыснуть. Рождение там, бракосочетание. Событие все же, правда, Юля?

- Мне бы ваши заботы! - насмешливо отвечает Андрей.

В приемную входят Константин Артемьевич, Нина Викторовна, дядя Сурен из Милютинского переулка, и его жена тетя Вера, и тетя Маргарита, которая завещала Андрею две золотые пятерки.

Оля ошеломлена:

- Сколько вас тут, одних Москвиных? - спрашивает она.

- Константин Артемьевич, - говорит Володя, - а когда вечеринка?

- За нами не пропадет, - отвечает Константин Артемьевич и поглядывает на Юлю. - Сегодня и приходите!

- Кто будет крестной? - спрашивает тетя Маргарита.

- Конечно, я! - говорит Юля.

- И я! - говорит Володя. - Вы - крестная мать, я - отец.

- Товарищи, честно предупреждаю, - говорит Константин Артемьевич, кумовья не имеют права жениться. Они становятся вроде бы родственниками.

- Что ж такого? - независимо говорит Юля.

- Глупый предрассудок, - замечает Володя.

- Москвин! Москвин! Записка от Москвиной, - зовет Оля.

Волосы выбиваются у нее из-под шапочки. Она устала. Она не спала всю ночь.

- От Москвиной... - говорит она охрипшим голосом. - Скорее, папаша!

Только потом, вспоминая об этом дне, с его усталостью, бессонницей, многолюдьем и суетой, Андрей вдруг понял, что это и было счастьем: оно светилось апельсинами, гремело погремушками, сияло синевой матросского воротника (платье на вырост), алело красными башмачками, которые, должно быть, купили товарищи в складчину.

Красные башмачки! Все над ними смеялись. Но Андрею они не казались смешными. Ты пойдешь по траве, по росе, в алых башмачках, моя дочка без имени! Тебе минуло уже двадцать четыре часа. Целые сутки.

Они все сохранились, эти записки. Андрей всегда все хранил - конспекты лекций, отцовские письма. Он был военный, может быть, это еще усилило врожденную точность, почти педантизм. Об этой черте Саша прежде не знала: ведь не сразу все узнаешь о другом человеке. А Саша сохранила и привезла эти записки домой потому, что любила хранить знаки человеческой привязанности, как бы малы эти знаки ни были.

Вот они, эти записки и письма, они и сейчас лежат в нижнем ящике письменного стола.

"...Ну, если я дядя, то можете на меня положиться. Научу плавать, кататься на велосипеде и пр. Но при одном условии: пусть называет меня дядей.

Леха",

"...Жена нашего дорогого Андрея! До сих пор он тебя от нас прятал. О причинах догадаться нетрудно: Отелло! Его вечно грызла тайная ревность и уже почти сгрызла: отъела одно ухо. Но мы ворвались к тебе впятером как представители Военно-Воздушных Сил республики. Надеемся скоро тебя увидеть. Пьем твое здоровье. Привет ребенку. Ура!"

"...Сашенька, сейчас вечер. Я пришла к твоим. Пусто без тебя. Андрей сочиняет тебе длинный список приветствий и честно старается не забыть всех поздравивших. Разговаривать с Андреем стало невыносимо. Он такой гордый, как будто сам родил.

Пожалуйста, опиши мне дочку разумным литературным языком: внешность, наклонности характера, психофизические свойства... Как ты ее собираешься назвать? Неплохо было бы в честь меня.

А Володя Левин - ничего, симпатичный. Не без остроумия".

"Вы спрашиваете, какая дочка? - писала Саша. - На руках по пять пальчиков, в носу две дырочки. Как назвать ее, не знаю. Это очень сложно. Имя должно подходить к человеку. А какой она человек, пока еще не особенно ясно".

Но с именем оказалось не так уж сложно. Вопрос решил не лишенный остроумия Володя Левин. Он предложил всем членам семьи и ближайшим друзьям написать какое-нибудь милое их сердцу имя (лично он написал "Юлия"). Тетя Маргарита написала "Эвелина", и, готовая ко всему, Саша с ужасом думала о том, что не ровен час - она вытащит эту, свернутую трубочкой бумажку. Леша написал "Тамара" - так звали девочку, которая считалась самой умной во всех шестых классах. Разумеется, Константин Артемьевич написал "Нина", кто-то написал "Гаянэ". Возможности были неисчерпаемые, у каждого нашлось заветное имя. Дядя Сурен из Милютинского переулочка, размечтавшись, написал имя девушки, за которой он ухаживал в юности, когда жил еще в Эривани. Ту далекую, прелестную девушку звали Офелия. Готовая ко всему, Саша вытащила билетик и дрожащими руками развернула его. На бумажке стояло "Анна".

Все облегченно вздохнули.

- Могло быть гораздо хуже! - сказала Нина Викторовна.

И маленькую сразу перестали звать "девчонка", "младенец", "крикунья". И как это раньше никто не понимал, что она Аня, Анюта. И только. Это имя написала Саша. Так звали мать Андрея. И так звали Сашину учительницу. А Саша ее очень любила.

\*\*\*

Анюта орала. Ух, как она орала! Она совсем не думала о родителях. Днем она отсыпалась, а ночью - вопила.

Сначала к ней были применены средства самого сурового современного спартанского воспитания. Поставив все на строгую научную основу, проработав книги Сперанского и Конюс, Андрей запретил давать ребенку соску и брать его на руки. Об укачивании не могло быть и речи.

Нина Викторовна страдала.

- У ребенка затекла спинка. Вот попробуйте сами, полежите на спине двадцать четыре часа. Попробуйте.

- Профессор Сперанский говорит... - отвечал неумолимый Андрей.

- Звери, звери! - восклицала Нина Викторовна.

Когда Андрей уходил в академию, Саша вынимала девочку из коляски, пела ей песни и, оглядываясь, словно Андрей мог видеть сквозь стены, тихо укачивала ее.

Строгий отец не спал по ночам. Он тренькал по стакану чайной ложечкой. Но это почему-то не развлекало Анюту:

Она продолжала кричать. В глубокой ночи за дверью раздавался голубиный воркующий стон: "Боже, о Боже!"

Нина Викторовна работала в стройконторе и вставала в семь утра.

- Бяда! Вот беда! - тосковала за стеной соседка тетя Даша. Она была уборщицей и вставала и того раньше.

- Не внучка, а богатырь! - радовался Константин Артемьевич. - Так их! Так!

- Андрюша, можно, я ее возьму? - просила Саша. - Ведь мы не одни, ведь люди работают.

Андрей был неумолим

- Нельзя! - говорил он.

Он вычитал у Чуковского, что культурные, наблюдающие за ростом своих детей родители ведут дневники. И поэтому записал в своей тетради:

"2 апреля 1937 года.

Анюте 12 дней. Вес 3820 гр. Рост 53 см. За четыре дня прибавилась в весе на 320 граммов и выросла на 1 см. Таким образом, через 40 лет она будет весить больше тонны, а рост будет равняться 37 метрам 3 см.

Говорят, что новорожденные не улыбаются. Аня улыбается. Бессознательно, бессмысленно - но это уж ее частное дело.

По ночам кричит. Сперанский говорит, что надо выдержать характер (не этими словами, но смысл такой). Кто кого переборет. Она должна сдаться и, несомненно, сдастся"

Семь часов утра. В окне едва брезжит зимний свет. Спит дочка, спит Саша. Лицо у Саши утомленное. Как тихо она спит. Не слышно ее дыхания. Андрею становится страшно. Он подходит к Сашиной кровати. Чуть приметно шевелится кружево на пододеяльнике. Смеясь над собой, он продолжает одеваться. Надо спешить. В девять начало занятий. Он наклоняется над дочкиной коляской. Как серьезно и строго ее крошечное лицо. От коляски тянет теплом, запахом молока. Андрею хочется сказать шепотом:

Любимая, маленькая или что-нибудь такое, похожее. Он сам изобрел эти слова - не вычитал, не слыхивал, - сам придумал.

- Андрей, чай уже на столе, - слышит он голос Нины Викторовны.

Они вместе с Лешей, обжигаясь, глотают горячий чай. За окном просыпается утро. Почти светло. Светло тем зябким, тусклым светом, который бывает только зимой.

- Сегодня не миновать, математичка спросит, - оживленно говорит Леша. Такая зануда!

И вот они выходят. Леша дорожит этими часами, нет, минутами. В эти минуты Андрей принадлежит только ему - можно говорить, спрашивать, спорить, гордиться. Оглядываться на встречных мальчишек. Андрей идет рядом в военной форме. Ни у кого в классе нет такого брата. В школе Леша любит называть его "братан". "Мой братан", - говорит он. До сих пор у него было, если считать двоюродных, три сестры и ни одного брата.

Это брат что надо. Его можно спросить о чем угодно - он все знает и обо всем может рассказать. Про Испанию рассказывает так, будто сам там побывал. Может решить любую задачу. И однажды он так выручил Лешу! Об этом знает только Леша, и Леша этого никогда не забудет!

Вот и сейчас - они идут и разговаривают как равные, два товарища.

У Арбатской площади они расстаются. Леша идет в школу, к Кропоткинским воротам, Андрей - в академию на Ленинградское шоссе. Ему не хочется в троллейбус, ему надо побыть одному. Он шагает по зимним улицам и смотрит на снег.

Я должен сказать, - думает Андрей, - почему я молчу? Берегу? Жалею? Но ведь надо подготовить, нельзя же бухнуть так сразу. Я должен был сказать ей давно. Я не смел молчать...

И он дает себе слово, что непременно скажет ей все нынче вечером, нынче ночью, как только они останутся одни.

Утро. Встает Саша. Вскрикивает как встрепанная - ее разбудила Анюта. Ребенок плачет, а она спит, вот до чего дошло. Который час? Девятый? Десятый? Старые часы в столовой бьют девять. Саша встает, кое-как умывается, берет дочку на руки, но обиженная Анюта еще долго не затихает.

- Прости меня, дуру старую, неумытую, - говорит Саша словами, которые она еще в детстве слышала от своей бабушки.

Вместе с Анютой они смотрятся в зеркало. На одной руке у Саши - Анюта, в другой - гребешок. Все уже на работе. В доме не убрано, на кухне гора немытой посуды. Надо прибрать, приготовить обед, выстирать пеленки. Анюта не умолкает, и поэтому Саша вместе с ней идет на кухню. Она наострилась мыть посуду одной правой рукой. Но вытирать посуду одной рукой Саша еще не наострилась. Поэтому она и не вытирает, а просто, сполоснув тарелки в горячей воде, складывает их горкой: пускай сохнут сами.

- Ну что ты кричишь? - говорит она. - Ведь ты большая девочка. И умом тебя Бог не обидел. Ты ребенок сознательный, передовой. Ну по какому вопросу ты плачешь? Ну прояви чуткость.

Анюта громко вопит.

- Я должна подмести в столовой! - страстно убеждает ее Саша. - На мне весь дом. Мы одни с тобой в нашей семье лоботрясы. Люди работают, учатся, а мы с тобой что?

Саша кормит девочку и заворачивает ее в одеяло. Эту хитрость она сама придумала. Анюта, когда ее заворачивают в одеяло, воображает, что она уже на чистом воздухе, и засыпает. Хорошо на улице - так, должно быть, думает Анюта. А Саша тем временем вытирает пыль, подметает, чистит картошку и с раскаянием думает о том, что ребенку жарко и лежать в ватном одеяле дома вредно. "Но что прикажете делать? Прости ты меня, обманщицу", - мысленно обращается она к дочке. А пока подметает, заводит патефон: под звуки вальса из "Спящей красавицы" подметать гораздо ловчее.

Потом она спускается по лестнице. Дворник дядя Толя всегда помогает ей вынести коляску. Он знает Сашу с рождения, и его очень смешит, что у нее самой уже есть дочка. Хорошо во дворе под каштаном. Каштан сейчас голый, скучный, но Саша помнит, какой он летом. Этой весной дочка впервые увидит зеленый каштан. Она будет уже держать головку. Она увидит небо. И ворону. Саша наденет на Анюту платье - и все станут любоваться и говорить: какая красивая девочка.

Саша втайне уверена, что и сейчас Анюта очень красивая. Вот дядя Толя тоже восхищается. Стоит над коляской и говорит:

- Красавица! Подумать только! Давай иди домой, я тут пригляжу!

Саша поднимается вверх. И тут-то все на нее опрокидывается: обед, пеленки, нечищенные кастрюли... Каша всегда подгорает. Молоко убегает, на кухне чад, и соседка Ольга Сергеевна неодобрительно поводит носом. Она укоряет Сашу тайно, но упорно. Она безмолвствует, но Саша отчетливо слышит: "Чем в окно глядеть на свою Анюту, приглядела бы лучше за молоком".

Очень хочется спать. Вот тут прямо на кухне растянулась бы и заснула.

Бездельница я, бездельница, - думает Саша. Уж если не самого Софокла, так хоть бы

хрестоматию почитать. И как я буду сдавать экзамены? А в ухо кто-то шепчет: "Ляг и усни".

Но в эту минуту раздается телефонный звонок.

- Саша, это ты? - говорит Юля. - Ну, как ты там? - И не дослушав:

- Сейчас бегу на лекции. Я спешу. Володя сегодня вечером к вам не заглянет?

Мне бы ваши заботы! - думает Саша, положив трубку.

Надо кормить Анюту, надо гулять с Анютой, Сперанский велел гулять не меньше шести часов! И о чем он только думал, когда велел такое? Где их взять, эти шесть часов?

Первый звонок в дверь. Бездельница Саша открывает.

- Ну, как ты тут? - говорит Нина Викторовна и тотчас берет Анюту на руки. Сразу становится легче.

И пошел кружиться вечер. Леша, папа. Леша приносит хлеб и триста граммов масла. Папа - рыбу на завтрашний обед. Врывается в дом Юля. Она начинает деятельно помогать. Хватает пузырек с вазелиновым маслом и сует его на кухне в чужой чайник. На беду это оказывается чайник Ольги Сергеевны.

- Я, конечно, ей ничего не сказала, - говорит Нине Викторовне Ольга Сергеевна, - но подумайте сами: чай с вазелиновым маслом. Я понимаю, ребенка надо смазывать теплым вазелиновым маслом. Но все же немного внимания. Ведь ребенок не захиреет, если вы поставите свое вазелиновое масло в свою же собственную кастрюлю.

А Юля забыла о вазелиновом масле. Она сидит перед зеркалом и очень внимательно смотрит на себя.

- Константин Артемьевич, - говорит она, - ну как, по-вашему... Я интересная? Или нет? По правде!

- Если по правде, интересная - это, пожалуй, несколько сильно. Но в тебе есть изюминка. А это гораздо важнее. Вот я тебе расскажу про себя. В Эривани у нас была одна девушка. Училась она в гимназии Шах-Арутюновой. Так вот она...

Юля уже не слышит: возвращаются из академии Андрей с Володей.

- По-моему, этот Володя совсем забыл дорогу домой, - говорит открывшая им дверь Ольга Сергеевна.

- А вам-то что до этого? - сердито отвечает Саша.

- Боже! Боже! - стонет соседка. - Была такая тихая, такая кроткая девочка, такой обаятельный ребенок, слова грубого, бывало, не услышишь. Нет, замужество не каждую женщину облагораживает.

Саша, которую замужество нисколько не облагородило, косится на нее исподлобья. У Саши зуб на соседку. Она не забыла и вовек не забудет, что Ольга Сергеевна сказала сегодня утром: "Никогда в жизни не видела такого беспокойного ребенка, как эта Анюта".

Саша стирает пеленки, Андрей полощет и выжимает. Леша в коридоре кричит в телефонную трубку:

- Эй, что сегодня задано по алгебре? Что? С ответом не сходится?..

В столовой Юля поет под гитару:

- "Ночь светла-а! Ночь тепла-а!"

Константин Артемьевич очень горячо и очень громко рассказывает Нине Викторовне, какой интересный случай был сегодня в их юридической консультации.

Понимаешь, приходит женщина и говорит...

Странно, - обращаясь к стене и насыпая в кофейник кофе, произносит соседка Ольга Сергеевна, - от шума у меня опухают ноги. Это нервы... да, нервы... Андрей Николаевич, - голос соседки вдруг становится ласковым, разве это мужское дело - стирать пеленки?

Самое что ни на есть мужское. Вы разве не знали?

"Ночь тепла-а!" - поет в столовой Юля.

Леша, который давно привык готовить уроки под аккомпанемент Юлиной гитары, бросает ей через плечо:

- Юлька, давай вот эту, про поцелуй, под нее здорово решать уравнение с двумя неизвестными.

- "Поцелуем дай забвенье!" - послушно поет Юля.

Остроумный Володя молчит и во все глаза смотрит на Юлю. Ужин. Андрей утверждает, что никто не умеет так жарить картошку, как Саша.

- Я тоже люблю свою жену, - говорит Константин Артемьевич, - но никогда не теряю объективности. Будем суровы и откровенны: картошка пересолена и пережарена.

- Попробуй, - говорит Нина Викторовна, - попробуй кормить, гулять, убирать, стряпать...

...готовиться к экзамену по политэкономии, греческой литературе... вставляет Саша.

- Да, и греческой литературе. Что бы ты запел?

"Ночь светла-а, ночь тиха-а!" - отвечает Константин Артемьевич.

...Они идут по коридору - впереди Саша, за нею Андрей. В руках Андрея горка тарелок. Саша несет чайную по суду.

- Кто самый красивый на свете? - спрашивает не оборачиваясь.

- Ты! - не задумываясь, отвечает Андрей.

- Кто самый умный?

- Ты!

- Кто самый образованный?

- Ты!

Саша уже не знает, что бы такое еще придумать:

- Кто лучше всех на свете жарит картошку? - спрашивает она.

- Конечно, ты! Кто же еще?

- То-то! - говорит Саша.

Тепло. Пахнет детским мылом. Комната переполнена сонным дыханием. Тихо. Они только что искупали Анюту и уложили ее. Уснула и Саша.

Сняв сапоги, он шагает по комнате. Он должен сказать. Если она пошевелится, он ей скажет сейчас. Саша вздыхает сквозь сон, и он замирает, притаившись в своем углу. Не проснулась. Ладно, он скажет ей утром.

Какая длинная ночь! Анюта и Саша тут, и он с ними рядом и все же один со своими мыслями. Андрей раскрывает тетрадь дневник. Так велит Чуковский, если отец культурен - записывай. И он пишет:

"20 мая 1937 года.

За отчетный период Анюта четыре раза ездила в трамвае, два раза побывала в метро, один раз не без удовольствия слушала пластинки Шаляпина (Володя приносил) и ежедневно, без заметного удовольствия, слушает перепалки и споры на кухне. Уже давно реагирует на звук, попросту говоря - слышит.

Когда ей было десять дней, ее легко успокаивал "Евгений Онегин", особенно первая строфа. А теперь Анюта впадает в детство: от Онегина интерес перешел к погремушкам. Зато все осмысленнее смотрит своими круглыми глазками и довольно внимательно следит за целлулоидным попугаем. Иногда смотрит поочередно на папу и на маму, не придавая, впрочем, большого значения присутствию этих товарищей. По ночам еще кричит, но, кажется, Сперанский прав, понемногу она сдается..."

Словно услышав эти слова, Анюта принимается громко орать.

- Молчи, - говорит Андрей строго, - разбудишь маму. Мама устала.

Наклонившись над коляской, он внимательно смотрит в лицо своей дочки.

- И не думай! Не сдамся! Нипочем! - орет Анюта. Ее личико кажется ему страдальческим. И он сдается:

Берет ее на руки.

Головка вся уместилась у него на ладони. Руке тепло от нежного затылка. Она запеленута, но вытащила ручки поверх пеленки. Они судорожно сжимаются и разжимаются, будто грозятся.

Ну как же это говорят, что новорожденные ничего не понимают? Если б не понимала, разве она могла бы плакать так горько? Разве смотрели бы ее глаза так пристально в глаза отца? Разве она могла бы так разумно потягиваться? Должно быть, маленькие видят землю, как птицы, - сверху. Да, как птицы или как пассажиры самолета. Земля предстает перед новорожденным в гармонии, в счастливом порядке, и некогда ему замечать мелочи. Такие глаза все видят, все понимают. А плачет - что ж, ей просто одиноко там в коляске. Вот ведь молчит, лежа у него на коленях.

- Ты мудрая, очень мудрая, - говорит он и, наклонившись, целует Аню в бархатный лоб.

- Чья взяла? - говорит Саша шепотом. - Кто сдался? Андрей вздрагивает. Он встает, не выпуская Анюту из рук. Подходит к жене. Он прижимает дочку к себе, как будто в ней его мужество.

- Сашенька, - говорит Андрей. - Я... я должен тебе сказать... Мы с Володей... Одним словом, мы едем в Испанию.



Опять лето. Опять над Сашиной головой листья каштана.. Их шорох едва приметен. Они полощутся, будто закипают на ветру. Каштан... Его киевские братья давно уже расцвели. Но ведь он московский, и солнце здесь не такое, что на Украине. И свечи проклюнутся только в июле, когда станет по настоящему тепло. На дворе солнце. Оно ложится на крышу Анютиной коляски. Но лицо Анюты в тени.

Не читается. Саша вздыхает. Аня спит. Скоро она проснется. И Саша станет с ней гулять по двору. На Анюте первое в жизни платье до пят. Новая шапочка, которую связала ей Нина Викторовна. Из-под шапочки выбиваются кружева и прядь светлых волос, прямая, как у мальчика. Тяжелая прядь волос, как будто нарочно зачесанных на косопробор. А брови-то, брови! Брови серьезные, соболиные. Лучшие брови во всей семье.

Аня спит. Задумалась Саша, обняв руками колени. Над головой шевелит листьями каштан. Перед Сашей открытые окна дома. Все тот же двор, тот же дом, который она помнит с тех пор, как помнит себя.

Вот асфальт посреди двора. Старый, потрескавшийся от солнца, щербатый от времени. А когда-то был гладкий. Она приносила из школы мел, чтобы играть с девочками в классы. На этом дворе они подбирали цветные стеклышки, в этих парадных прятались. Там, в парадных и на черных ходах, вон за теми облупившимися дверями, словно до сих пор прячется девочка в коротком платье. Эту девочку звали Сашкой.

А Петя с третьего этажа просидел один раз двое суток в том подвале в отместку матери, которая стукнула его по затылку. И ребята тайно передавали ему хлеб с колбасой, чтоб не помер с голоду...

Тили-тили тесто! Жених и невеста! - кричали им с Петькой, когда они перешли в пятый класс. И дергал же он ее за косы! И обливал же чернилами ее тетрадки! А она? Она презирала его! Два раза их прорабатывали на пионерском сборе. Выступала Юля и говорила о нечуткости к человеку и о вопросах товарищества.

А потом он стал кроткий, будто его подменили. Ходил по пятам, глядел тоскующими глазами. Но она уже к тому времени была влюблена в Толю Кириллова из девятого класса. А Толя был влюблен в Марину Плешко из десятого.

Как Саша плакала, даже Юля об этом никогда не узнала. Поднялась вон на тот чердак и там долго плакала, лежа на животе в пыли, под мокрым бельем на веревках. На голые ноги ей капало с чьей-то длинной рубашки в цветочках, но она ничего не замечала. Она слышала, как ее звали, но\* не откликнулась. Пришел вечер, в окошко глянули первые звезды и огни соседних домов. Первый раз она видела свою улицу с такой высоты. Встав на цыпочки, она долго глядела! в узкое маленькое оконце. И вдруг вспомнила, что она влюблена, что любовь ее несчастна и безответна. Но странно: она не ощутила прежней горечи. Как же так? Ведь она влюблена? Пошлый человек, как она хотела есть, как хотела скорей домой, к папе, к Лешке.

Этот дом встречал ее весной и летом широко распахнутыми окнами и дверями балконов. В пасмурные дни, когда по стеклам бил дождь, окна были закрыты. Но это только казалось так. На самом деле почти все окна и двери были распахнуты для Саши. Вон за тем окном в первом этаже жил Грищенко Иван Васильевич. Инвалид гражданской войны. Он рисовал картинки для артели "Всекохудожник": чайки, море, кораблики. У его окна всегда толпились ребята. Через окно были видны мольберт, палитры, краски, в кувшине большущие кисти. Не было на земле красивее тех картин, что рисовал Иван Васильевич. Они сохли на подоконнике. Чайки были белые, море синее, аккуратное. Даже волны аккуратные. А парус! Белый парус на светлом кораблике. Никто, кроме Ивана Васильевича, не мог так рисовать море, чаек и паруса.

А вон там, на третьем этаже, жил директор завода Голубев. За ним по утрам приезжала

машина, подумать только! Машина! Тогда машин было не так много, как сейчас. Директор садился и уезжал, и мальчишки стояли замороженные, полные зависти и восторга.

Вон с того балкона они с Юлей облили Петьку из кувшина. Он вышел во двор гордый, в новой рубашке, в прекрасном новом галстуке и серых брюках. А они взяли и плеснули на него из кувшина. Летом они сидели на ветках каштана и осмеивали прохожих. Интересно, почему в четырнадцать лет люди бывают такие вредные? А потом дядя Толя сгонял их с дерева, грозил им шлангом и кричал: "Тоже! Завели моду!"

В пятнадцать лет она из Сашки превратилась в Сашу, Сашеньку. Один раз Константин Артемьевич нашел в почтовом ящике записку: "Саша, у меня есть лишний билет в кино. Может, выберешь минуту? Коля".

Константин Артемьевич долго смеялся и все спрашивал - нет ли там лишнего билетика и для него?

Когда ей минуло шестнадцать, на день рождения пришла учительница Анна Дмитриевна, а рядом семенила Юля в белых босоножках. Она и привела Анну Дмитриевну. Вот это подруга! Вот это подарок!

Счастье входило в эту калитку много раз. Однажды оно легло на колени букетиком ландышей. И, как всегда, как и прежде, шагнуло в эту калитку, глянуло через эту решетчатую ограду.

А потом пришло новое счастье. Оно пока не умело шагать, его принесли. Андрей нес его на руках. Оно звалось Анютой

"Поздравляем!" - кричал ей кто-то из открытой форточки. Дядя Толя сказал: "А Сашка-то, Сашка!" И все улыбались. И директор завода, и Петька, который, хоть и был ровесником, казался сейчас совсем мальчишкой. Весь дом приветствовал их. Дом! Сашин дом! Он станет Анютиным домом, Анюта будет играть на этом дворе в классы. Прятаться вот в тех закоулках, залезать на ветки вот этого дерева, как залезали они с Юлей.

...Саша сидела под каштаном около Анютиной коляски с книгой в руках. Их пригревало солнышко,

За решетчатой оградой двора текла улица. Шли прохожие. Человек с портфелем, девушка в цветастом платье, старушка с корзиной. А вот показался из-за угла военный. Еще один, еще. Да это Боря Веселовский, однокурсник Андрея! Саша встала, приникла к решетке и замахала рукой:

- Ребята, ребята! Мы здесь!

Проснулась Анюта. Саша схватила дочку на руки и снова приникла к калитке. Они шли ей навстречу. Они глядели поверх ее головы, ведь она маленькая, а они все - высокие.

- Скорее! - звала Саша. - Вы как черепахи!

И вдруг она замолчала. Они шли медленной, словно виноватой походкой. И лица у них были замкнутые, и глаза тоже виноватые.

- Саша... - начал Боря Веселовский и замолчал.

- Что? - спросила она шепотом, и глаза ее стали перебегать с одного лица на другое, словно ища опоры. - Нет! Нет! Нет! - закричала она.

Борис подхватил Анюту. Лицо его дрогнуло. И тогда Саша поняла, что пощады нет, и нет

надежды, нет утешения. Сокрушая ее жизнь, неизгладимое, незабываемое; страшное - в калитку ее двора вошло горе.

"Сашенька, все спят, и мы сейчас вдвоем с тобой. Да, когда я пишу тебе, мне кажется, что я говорю с тобой, что ты рядом.

Как мало я успел тебе сказать. Как мало успел узнать о тебе. Я хотел бы помнить тебя маленькой, такой, как Аня. Я хотел бы отвести тебя в первый раз в школу и быть тем мальчиком, который сидел с тобой на одной парте. Мне тебя недостает всегда и везде. Я разговариваю с тобой перед тем, как уснуть. И когда я встаю, первая моя мысль о тебе.

Как я жил до тебя? Без тебя?

Я ничего не знал прежде. Я не знал, что можно так сильно любить, так сильно жалеть. А я тебя всегда за что-то жалею. Мне всегда за тебя страшно.

Говорят, человеку дороже всего свобода. Это не правда. Мне она совсем не нужна теперь.

Ночь. Сейчас Москва спит. Спишь ты, спит наша Аня. А в соседней комнате Константин Артемьевич Леша. Здесь ночь другая. И сны - другие. Ты не получишь этого письма. И просто не отошлю его: я боюсь огорчить тебя и причинить тебе боль. А молчать - не в силах. Я пишу, и мне кажется, что я говорю с тобою.

Самое страшное на земле - это гибель детей. Подумай сама - взрослый, как мало ни жил бы, успел что-то сделать, как-то выразить себя. Или просто любить, как я люблю. А маленький человек? Вот почему и нет на земле преступления большего, чем оборвать эту жизнь, которая еще не осуществилась, которая только обещает, когда жизнь в человеке - только предчувствие ее.

Тут много сирот. Их находят в разбомбленных домах. Они разные - большие и маленькие, а есть и такие, что ползают по полу: еще не научились ходить. Их отправляют в Москву пароходами. И они не могут понять, что с ними случилось.

И опять всюду ты и Аня. В глазах чужого ребенка, в обрушившейся крыше чужого дома, в смерти и жизни. Мне кажется, все, что я вижу, открыла мне ты: прежде я не умел видеть так.

Уже свет за окном. А я все не могу замолчать. Не могу не быть с тобой, не могу от тебя оторваться. Прости меня, что бы со мной ни случилось, потому что я иначе не мог. Не гнев и ненависть вели меня, а любовь. Больше всего любовь. Утром я ухожу в полет. Я вернусь, я знаю. Не первый раз и не последний. Но если со мной что-нибудь случится, не плачь обо мне. Нет, плачь. Нет, не надо. Мне будет от этого больно, я не могу чтобы ты плакала. Верность в том, чтоб любить все, что ты мне открыла, то есть жизнь. И знай, что, если жизни моей суждено быть короткой, она была счастливой, очень счастливой.

Сашенька, уже утро. Скоро я полечу над землей. Над этой жаркой землей. Она залита кровью. Она сожжена и разрушена горячая и большая. Всякий, кто увидел Испанию, никогда ее не забудет, никогда не разлюбит. Я вернусь и расскажу тебе о ней.

Прощай, Саша. Прощай, Аня. Это письмо не дойдет до вас. Потому что я вернусь

Андрей".

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

- Аня, не спотыкайся! Ведь ты большая девочка! Аня поднимает голову и смотрит на маму большими коричневыми глазами. Саше стыдно, что она разговаривает с девочкой сердито, но нынче ее сердит все: непрерывная Анина болтовня - ведь надо ей отвечать. И то, что Аня

оглядывается по сторонам и спотыкается, - все, все сегодня сердит Сашу.

- Мама, купи! - говорит Аня.

Сама виновата: покупает дочке все, что попадает на глаза, апельсины, игрушки, - вот Аня и привыкла. К счастью, Аня любит все маленькое. Маленьких кукол, маленькую посуду, маленьких мишек.

- Купи! - говорит Аня.

На углу стоит женщина и продает цветы. Саша шарит в кармане, достает рубль и покупает букетик ландышей. Девочка несет его, вытянув вперед руку.

Люди оглядываются.

- Аня, опусти руку, - говорит Саша.

- Мама, ты сердишься! - отвечает Аня. - Почему ты сердишься?

- Я не сержусь, честное слово! И вдруг Аня останавливается и вздыхает:

- Мама, на руки!

Саша наклоняется и покорно сажает ее к себе на спину. Теперь она может идти быстрее. Лоб ей щекочет букетик ландышей.

- Мама, лети! - приказывает Аня.

На их языке это означает, что надо пойти быстрее, и Саша, вздохнув, ускоряет шаг.

Она почти бежит. Люди оглядываются, смотрят на девочек - одну взрослую, а другую маленькую, которая сидит на плечах у своей старшей сестры.

Из-под Сашиних сцепленных позади рук торчат два желтых начищенных башмачка.

- Я устала, - говорит Саша.

- У-у-у! - слышит она в ответ. - Это Аня изображает ветер.

Ну, раз так, Саша уже не смеет остановиться и бежит все быстрее. Спасибо милиционеру, который управляет потоком машин. Пожалуй, можно передохнуть.

Они стоят на перекрестке улицы. Близко, совсем близко от них легковая машина, у руля сидит человек, рядом - девушка. Машины остановились, руки водителя все еще лежат на баранке. И вдруг - нет, не может этого быть! водитель целует девушку. Нет, мне это привиделось, - думает Саша.

- Мама, ну! - говорит Аня. И взмахивает над Сашиней щекой букетиком.

Саша бегом пересекает площадь.

Не может этого быть, - думает она. Посреди улицы - и вдруг целуются. Сумасшедшие!

А Володя рассказывал, что во Франции очень часто целуются на улице. И это никого не удивляет.

- У-у-у! - вопит Аня, махая букетиком. Хорошо придумали китайки или, кажется, индианки. У них

За спиной корзины, а в корзину можно посадить ребенка. Аня стала тяжелая. Ведь ей уже три года. А Саше двадцать два...

...Но что же это было такое, что так рассердило ее? Ага, вот оно. В больницу нынче пришли из кинохроники. В палату они явились с зажженными лампами. За ними шел главврач: нас отразят! Прославят на весь Советский Союз! - было написано у него на лице.

Отразят вот этого, с забинтованной головенкой. Маленькую кровать с сеткой. Вот эту тумбочку, на которую мама больного мальчика положила два апельсина. В свете ярких ламп апельсины как будто дрожат, а малыш, напугавшись, начинает орать.

- Сестра, займите ребенка! - строго говорит главврач. Саша подходит к мальчику и заслоняет его.

- Сейчас, - говорит она, - сейчас, дорогой. Сейчас они уйдут.

- Деточка, - говорит Саше кинооператор, - все это очень мило, но я попрошу вас отойти, нам надо снять ребенка... Ну и вас, пожалуй, но не спину, а, по возможности, профиль. Вот так, возьмите в руку стакан, чайную ложечку, улыбнитесь и скажите ему что-нибудь такое...

Саша слегка отстраняется, приоткрыв от негодования рот.

- Прекрасно! - вопит оператор. - Но едва Саша отступает, как ребенок начинает кричать с удвоенной силой. Он протягивает к ней руки, и, забыв о главвраче и о наглom кинооператоре, Саша видит перед собой только эти растопыренные пальцы и залитое слезами лицо.

- Ванечка, да что ты, зачем же ты плачешь! Ты же обещал не плакать!

- Кадр! - кричит оператор.

- Пропадите вы пропадом! - не своим голосом и не своими словами отвечает Саша. - Тут вам не куклы, тут дети! Василий Сергеевич, можете меня уволить, только сейчас же прекратите это безобразие!

Главврач ничего не успевает сказать.

- Прекращаю! - говорит оператор серьезно и обращается к доктору:

- Нельзя ли нам другую сестру? Постарше.

- Вы же говорили, - растерянно отвечает доктор, - самых молодых и самых красивых.

- Это верно! - легко соглашается оператор и улыбается Саше. - Но для съемок не противопоказан также хороший характер. Добрый, мягкий. Звукозапись не выдержит такого фольклора, как "пропадите вы пропадом".

Но звукозапись, оказывается, выдерживает все: крик детей, их плач. Все няни наперебой стучат ложками по тарелкам и кружкам. Киногруппа работает, и никто уже не обращает внимания на Сашу, которая, как насадка, мечется между своими ребятами. Никогда в жизни она не была так зла. Бюрократы! Подхалимы! Нахалы! - думает она

Разом и об операторе, и о враче, обо всех на свете. Чтоб к больным детям... Подумать только... Если бы дать ей власть, она выгнала бы всех с их аппаратами, с их спецовками на молниях, с их рыжими заграничными туфлями. Она развела бы костер и покидала бы их всех в огонь... Она бы, она бы...

- Ну, а теперь, напоследок, - говорит оператор, - мы все-таки запечатлеем эту молодую и

сердитую особу. Вот так, хорошо. Положите руки на голову этому мальчику и, по возможности, улыбнитесь.

Саша задохнулась от ярости.

- Попрошу вас оставить палату! - сказала Саша таким голосом, будто она была не самой молодой в больнице сестрой, недавно окончившей медицинские курсы, а главврачом.

- Как вам будет угодно, - холодно отозвался оператор и, приводя в порядок свой аппарат, задумчиво сказал главврачу:

- Чрезвычайно вам благодарен!

Учтиво поклонился и, не глядя на Сашу, чуть покачиваясь на длинных ногах, вышел из палаты.

В палате разом наступила тишина. Няни озабоченно собирали кружки и ложки, малыши перестали орать, и только сердитая Саша долго еще не могла успокоиться.

К концу дня ее вызвал главврач.

Товарищ Москвина, - сказал он прямо и твердо, глядя Саше в глаза, - вы сегодня чуть не сорвали съемку. Между тем, это дело общественное. И познавательный материал, который продемонстрирует сельским больницам

Наше кино...

Саша не дала ему закончить.

- Но зачем тогда не в срок меняли белье? Если вы считаете, что на второй день оно грязное, давайте будем менять каждые два дня. Зачем принесли цветы, которых раньше не было? Зачем эти "потемкинские деревни"? В сельской местности будут думать, что...

- На сегодняшний день, товарищ Москвина, - ответил главврач, - этой детской больницей руковожу я - и попросил бы...

Что долго говорить: они поругались. Он говорил тихо и строго, Саша шумела и все поминала "потемкинские деревни".

Ничего не доказав друг другу, они расстались врагами.

- Мама, ты что? - спросила Аня.

- Так... - ответила Саша. И, достав из кармана ключ, открыла дверь.

- Мама, - говорит Аня, - а мы будем сегодня пить чай?

У них есть игра в чаепитие. В школу. В больницу. В дочки-матери (Аня мама, а Саша - дочка). Есть игра в дедушку (Аня - дедушка).

Всю дорогу Саша сердилась, не замечала Аню. Теперь придется платить долги. Пить чай - это значит поставить на плиту маленький чайничек. В него входит стакан воды. Чайничек старый, от Нины Викторовны он перешел к Саше, от Саши к Ане. Ни у одной девочки на дворе и в детском саду нет такого красивого, помятого в боках чайничка. Он стоит на подоконнике и ждет, когда о нем вспомнят.

- Саша, - говорит из соседней комнаты Нина Викторовна, - вы с Аней опять насорите.

Это верно. Маленькие чашки, величиной с наперсток, крошечные печенья из хлебного мякиша - все это, конечно, беспорядок, потому что чашечки то и дело опрокидываются, вода оставляет пятна на чистом полу.

- Гражданочка, вы сегодня ходили на рынок? - спрашивает Аня у Саши. - А как, гражданочка, ваш сынок Сережа - хорошо поживает? А вы как поживаете?

- Я поживаю - добра наживаю, - отвечает Саша, а Аня молчит, а потом деликатно напоминает:

- А я как поживаю? Спроси у меня, спроси! - говорит она шепотом.

- А вы как поживаете? - тряхнув головой, спрашивает Саша. - А нельзя ли вас пригласить на бал?

И, мигом почуяв, что на этот раз мать вернулась откуда-то издалека, но вернулась по-настоящему, Аня счастливо смеется, видны ее маленькие зубы. Она обхватывает Сашу за шею:

- Танцевать! Танцевать!

- Не так, - шепотом говорит Саша - пригласи как следует.

И они кружатся на пяточке посреди комнаты.

Теперь эта комната Анина. Раньше здесь царил письменный стол, на книжных полках стояли умные книги "Бомбометание", "Теория воздушной стрельбы", "Интегральные уравнения".

Сейчас на них стоят сказки: "Мойдодыр", "Человек рассеянный". На них сидят куклы, отдыхают. Стоит Анина кружка, прикрытая салфеткой... У окна низенький Анин стол, два маленьких стула и Анина кровать с сеткой.

В углу теснится незаметная Сашина кровать, Кровать старая, с шишечками у изголовья. Но шишечек уже нет - Леша давно вывинтил их по Аниной просьбе. Шишечки были очень хорошие, но они куда-то закатились. На стене портрет Андрея, и все... И только у Леши в заветном ящике планшет Андрея, маленькая его фотография, а над письменным Лешиным столом его книги.

Аня, Аня, Аня... Да, она повсюду. В настольной лампе, которая затенена газетой. В приглушенном голосе Леши, который пытается говорить по телефону шепотом. В сонном дыхании, которое Саша слышит за плечами. Вечер. Окно широко распахнуто. Кто-то поет во дворе. Кто-то

Смеется

Перед Сашей тетрадь. И вот уже Саша не слышит ни пения, ни смеха. Тетрадь и она. Саша пишет.

"...Прошлой ночью Аня проснулась и с плачем говорила:

- Возьми меня к себе, мне скучно,

Очень любит Лешу, радуется, когда он приходит за ним в детский сад. Говорит:

- Мой дядя Леша - лучше всех".

Тетрадка толстая. Это не та, что начинал Андрей, та давно уже исписана. Ведь Ане уже три года. В этих тетрадках - Аня. Ее первый зуб... Бессонная ночь после оспенной прививки...

Болезни, выздоровления. Анино первое

Слово: "мама". Анин взгляд исподлобья. Анина улыбка. Анино слово "пугоровица" вместо "пуговица". На страницах этой тетради портрет человека:

"Аня легко делится вещами, игрушками. Нынче отдала мальчику на бульваре свой апельсин. Обидчива. Кричать на нее нельзя: плачет. От боли не плачет, от резкого слова - плачет".

Двенадцатый час. Саша сидит у стола. Окно распахнуто, и темное небо глядит в комнату.

"Мне кажется - мы опять вдвоем - ты и я. Зачем же я плачу? Я не могу без тебя... Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Ночью ты сидел за этим столом и думал, что я сплю. А я глядела на тебя. Тебя освещала вот эта лампа. В правой руке карандаш, а левая на книге. Ты учил испанские слова, и я думала - это для того, чтобы читать испанские книги.

Где ты? Ты меня слышишь? Наш каштан уже покрылся листьями. А тебя нет, нет, нет..."

Все это Саша хотела бы написать, но не пишет. Она только думает это, глядя в темное небо.

Как она осталась жива? Об этом она не могла бы рассказать, этого она и сама не знала. Она оглохла, ослепла, все в ней стало долгой, не отпускающей болью. Незрячая, оглохшая, она ходила на занятия в университет, возвращалась домой, читала книги и сдавала экзамены. Родные с испугом смотрели на это угасшее лицо. Она не то чтобы горевала. Ее просто не было. Ей только того и хотелось: не быть. Не видеть, не слышать, не вспоминать. Так прошло полтора года, она была на втором курсе. И вот однажды она вернулась из университета, и домашние увидели: это еще не прежняя Саша, нет. Но это Саша, которая ожила. Саша, которая чего-то захотела. Саша, которая что-то решила. Она оставила вуз и поступила на курсы медицинских сестер: она кончит их и пойдет на финский фронт. Ей никто не перечил, не смел спорить даже Константин Артемьевич. Она ходила на курсы и занималась со страстью. Зубрила анатомию, лекарствоведение, училась днем и ночью, мечтая только об одном, стремясь к одному: скорее на фронт.

Там пригодятся ее руки, ее сердце, ее жизнь. И если что и случится с ней - так не даром.

Наконец настал этот день: она медсестра! И в тот день был заключен мир с Финляндией. Война кончилась - ведь это счастье. Но Саша этого не понимала. Казалось, жизнь снова потеряла смысл.

- Ну, вот ты опять сможешь вернуться в университет, - осторожно сказал Константин Артемьевич.

- Нет, - ответила Саша. - Не вернусь.

Она знала, что, вернувшись, начнет бездумно слушать лекции, машинально читать, учить, сдавать экзамены. Да, [то можно было делать почти без мысли, нужно лишь небольшое усилие памяти. И это - не жизнь. А она вдруг почувствовала, что хочет жить - так после долгого мертвого сна человек испытывает сильный голод. И если жить, пало делать что-то такое, что потребует всех сил головы и сердца. Лечить, беречь, утолять чью-то боль бездумно нельзя. Мертвец не поможет живому. Только живой человек может помочь.

Она стала работать в детской больнице. Она не могла слушать музыку, им разу с тех давних пор не подошла к роялю, не притрагивалась к книгам, которые были читаны вместе. Большой пласт жизни был под запретом. И все-таки она была жива. И сейчас, уложив Аню, сидя за столом в своей комнате и глядя в темное небо, она знала, что жива. Свежестью леса, весной пахнул букетик ландышей на столе. Сашины слезы капали на лист тетради, чернила расплывались. Саша плакала, и слезы тоже означали: она жива.



И вдруг, наклонившись над тетрадкой, она пишет слова, которые вычитала в одной книге; эту книгу подарил ей когда-то Андрей:

"От горя не умирают. Только собака умирает от горя. Потому что только собака умеет хранить верность. А человек не умеет... Нет... Человек... не умеет".

Звезда сорвалась с неба и, прочертив круг над двором, над каштаном, полетела куда-то. Куда она полетела? Крепко зажмурясь, Саша прижалась лицом к раскрытой тетради.

Однажды, выйдя из больницы и направляясь в детский сад Саша увидела, что напротив больничных дверей, безмятежно прислонясь к дереву, стоит человек и курит трубку Лохматая заграничная кепка была сдвинута на затылок. Человек смотрел на небо, на облака. Между тем, когда Саша вышла на улицу, человек шагнул ей навстречу.

- Добрый день, товарищ сестра! Не хотите ли посмотреть пробы? Будем показывать то, что наснимали у вас. Погода прекрасная, пройдемся пешком до Лихова переулка?

- Что? - вместо "здравствуйте" сказала Саша.

Ей бы хотелось уничтожить кинооператора взглядом, но это невозможно было сделать, он такой высоченный, чуть ли не вдвое выше ее. Не обернувшись, Саша пошла дальше. Он не отставал. С негодованием она косилась на его большие ноги в ярко начищенных рыжих сандалиях. Она ускорила шаг, он шел рядом.. Помолчав, кинооператор печально сказал

- А я-то думал, что вы - человек, глубоко преданный своему делу. Ведь я с вами говорю о деле. Ведь пропагандистское значение этой картины...

- Главврач уже чуть не уволил меня из-за вашей картины, - сказала Саша, - и он уже все объяснил мне насчет ее пропагандистского значения, а по-моему, это халтура и безобразие - снимать больных детей.

- У, какая вы свирепая. Да, трудно иметь дело с людьми. Пингвинов было снимать куда легче и проще. Правда, для этого пришлось летать Бог весть куда, но какое это имеет

Значение?

- Пингины? - с любопытством спросила Саша.

- Пингины, - повторил он лениво. - Трудно представить себе, как сияют на солнце снежные горы, поля, равнины. Кинооператору там - раздолье. Снега в кристаллах.

Свет и тени... Да, раздолье... Впору не спать - ночи светлые. Кстати, вы бывали в Ленинграде, видели белые ночи? Это самое красивое, что есть на свете. Еще Царская тропа в Крыму. Между прочим, когда я летал на Северный полюс...

Саша не была в Ленинграде, не видела белых ночей и Царской тропы, но она много раз видела Анин детский сад.

- До свидания, - сказала она и открыла двери детского сада.

Когда она вышла с Аней на улицу, она с удивлением увидела, что длинный кинооператор терпеливо ее дожидается.

- Сестренка? - спросил он деловито, поглядев на Аню.

- Дочка, - сухо ответила Саша. Кинооператор сел на корточки, протянул Ане руку:

- Поливанов, Дмитрий Александрович. А тебя как зовут?

- Аня Москвина.

- Не хочешь ли ко мне на плечи, Аня Москвина? Аня молчала, но было видно, что сесть на плечи такому высокому человеку ей очень хотелось.

- Ты летчик? - спросила она.

- Нет, - ответил он виновато и с сожалением, - я бюрократ и халтурщик.

Это объяснение вполне устроило Аню.

- Ладно, - ответила она, - могу покататься.

И он взял ее на плечи. Теперь Аня видела то, что может

увидеть только самый высокий человек на свете, чужие макушки. Кепки и шляпы. Головой она задевала ветки деревьев. Сидеть на плечах у мамы было не так интересно.

- Так вот, пингины, сказал кинооператор. - Жили-были на свете пингины. Пингвин - мама, пингвин - папа и пингвин - сынок. И вот сынок подрос. Мама с папой

Отдали его в детский сад. Я не выдумываю. - Он закинул голову и близко-близко увидел коричневые Анины глаза - счастливые и внимательные. - Я не выдумываю, - повторил он. - У них тоже есть детский сад. Пингвиний детский сад. На большой ледяной полянке. За маленькими пингвинами ухаживают старые няни-пингвинки. Они такие старые, что уже не могут ходить на охоту. Пингвинята играют, кричат друг на друга. А няни их уговаривают и кормят рыбешками из клюва в клюв.

- Врешь! - сказала Аня и подтолкнула оператора ногой.

- Мы пришли, - сказала Саша и отворила калитку.

- Мама, пускай он доскажет!

- Нет, Дмитрий Александрович спешит, он занят. Ему надо в Лихов переулок.

- Он не спешит! - закричала Аня.

- Она права, - сказал Дмитрий Александрович. - Яне тороплюсь.

- Я тороплюсь. Мы торопимся, - и Саша протянула Ане руки.

Перед этим Аня никогда не могла устоять, она потянулась к матери.

- До свидания, дядя, - вежливо сказала Аня.

- Зови меня просто Митей, - так же вежливо ответил кинооператор.

- Приходи к нам в гости, - пригласила Аня.

- Загляну как-нибудь, - не глядя на Сашу, сказал кинооператор. Загляну непременно. Когда твой папа возвращается с работы?

- У нас нет папы. У нас есть дедушка и Леша. И бабушка.

Саша не видела его глаз, он сидел на корточках, но она видела, как большая рука протянулась к Ане и нерешительно, будто заколебавшись, тронула Анину щеку, потом легла на Анино плечо.

- Я приду, - сказал Митя. - Приду непременно. И доскажу тебе про пингвинов.

- Саша! Сашка! Ты только послушай. Что было! Прихожу я за Анютой в детский сад, смотрю, там настоящий бедлам - понаехало народу с кинофабрики. И один, длинный такой, Поливанов фамилия, распоряжается. С Анной нашей на дружеской ноге! Ее и в профиль, понимаешь, и в фас, и по-всякому. А она ему запросто: "Митя!" Когда он узнал, что я Анин дядя, велел взять ее на руки и снял нас на пару. Я, говорит, очень обязан вашей сестре за совет - тонкий, профессиональный совет. Какой, говорю, совет? Саша про кино ничего не понимает. А он: ваша сестра велела мне снимать только здоровых детей. Вот я и снимаю. Подумаешь, говорю! Наверно, она всем понадавала таких советов как ни придешь в кино, глядишь, в киножурнале непременно детский сад. А он: возможно, но там, наверное, не такие здоровые дети. И вот, гляди, пригласил на просмотр: приходите, говорит, сегодня в Дом кино. Скажите на контроле, что от Поливанова. Велел с тобой приходиться. Давай корми Анюту и собирайся!

- И не подумаю, - ответила Саша.

- Да ты очумела?! В Дом кино! Такой человек приглашает! Он на Северный полюс летал.

- Ах, он уже и тебе про Северный полюс успел наболтать? Ну и хвастун!

- Не хвастун, а герой! У него "Знак почета"! Ну что ты понимаешь после этого! Давай одевайся! Не пойдешь? Последний раз спрашиваю?

Взбешенный, Леша выскакивает в коридор и набирает номер.

- Нельзя ли Тамару Чудину? Спрашивает товарищ... Тамара, ты? Видишь, тут такое дело. У меня случайно есть лишний билет в Дом кино. Если хочешь, пойдём. Мне приятель дал, один знакомый кинооператор. На кинохронике подвизается. Ну как, решила? На углу. Ладно. Есть.

Леша молча подходит к Саше. Она тщательно завязывает ему галстук, потом оглядывает со всех сторон и сует ему в карман пятерку. Он делает вид, что не заметил этого. Он очень взволнован. Громко хлопает дверь парадной. С Сашинной пятеркой в кармане Леша бежит к памятнику Пушкину, а оттуда, оттуда - вместе с Тамарой Чудиной в Дом кино, к своему приятелю Поливанову.

Дачный вагон битком набит. Суббота. Саша с обеих сторон зажата какими-то толстыми тетками. У всех авоськи, па лицах пот. Кто-то кричит: "Откройте окно!", кто-то кричит: "Нельзя! Сквозняк, здесь дети". - "А если дети, так надо в детский вагон!" - басит кто-то с площадки.

Если б был хоть один свободный крючок, чтоб повесить сумку. В сумке батоны, из ее глазков выглядывают помидоры, груши и цветная капуста.

Переступить с ноги на ногу и то нельзя. Ну ничего, через две станции Ильинское. Она сойдет на платформу и сразу почувствует себя веселее: станет легче авоська. Пахнет листьями, травой - недавно прошел дождь. И чем дальше, тем легче будет авоська, а когда Саша подойдет к даче, она станет совсем легкой. Саша крикнет: "Анюта!" - и побежит навстречу дочке: она не видела ее целых три дня!

Саша идет по тропинке. Земля мокрая. Она сбрасывает туфли и кладет их в авоську прямо на помидоры.

- Саша, Саша! - слышит она Лешин голос. - Анюта, мама приехала, бежим!

Они бегут навстречу друг другу. Авоська хлопает Сашу по ногам. Да черт с ней, с авоськой! Брошу! Лешка подберет.

Налегке, раскинув руки, она бежит навстречу Анюте и, зажмурясь, обнимает ее. Два сердца бьются близко друг от друга - Анютино и Сашино. Обе запыхались. Но уже забыта дорога в поезде, больница, жара.

- Мама, - говорит Аня.

И Сашину щеку щекочат длинные Анины ресницы.

Взявшись за руки, они идут к калитке по влажной дороге, еще не просохшей после дождя.

Застенчиво опустив голову, глядит им навстречу высокий человек. Он стоит у калитки. Кто это?

- Мой приятель, Поливанов, - говорит Леша. - Вы знакомы. Я прихватил его с собой на воскресенье.

День потемнел. Нельзя будет бегать по дорожкам с Анютой. Нельзя будет свободно шлепать босыми ногами по влажной траве. Дремать под деревом. Качаться с Анютой в гамаке. Кормить с ней хозяйских цыплят. На даче - чужой человек. Надо принимать гостя. И зачем он приехал?

Опустив глаза на свои грязные босые ноги, Саша говорит:

- Здравствуйте, Дмитрий Александрович.

А он в ответ молчит. И на светлой рубашке нет никакого ордена. И растрепаны его волосы. Весь он домашний, дачный, совсем не такой, как в Москве.

Летний вечер. Дачный, субботний. На свет электрической лампы налетают из сада мотыльки, бьются о стекло и падают на скатерть.

Леше и Дмитрию Александровичу стелют на террасе; Окна Сашиной комнаты выходят на террасу. Они не завешены - никому не могло прийти в голову, что Лешка привезет гостя.

Аня спит. И вдруг открывает глаза и говорит:

- Мама! А мы с ним пускали кораблики. И бабушка чашку дала. Мы ее понесли в сад.

Аня снова засыпает. И вдруг опять открывает глаза:

- Мама, он умеет стрелять из лука

- Спи, Аня, - отвечает мама.

- Мама, он пел индийскую песню.

- Спи, Аня.

И Саша открывает окно в сад. Тихо стоят у окна кусты сирени. Не дрожат листья. Ночь беззвездная, безлунная. Деревья заполняют сад и там, за калиткой, сливаются с лесом. Ночь посылает Саше в окно много волшебных запахов. Запах свежести и дождя, запах лета. Неподалеку лает собака. Тявкнула - и замолчала. Видно, свой кто-нибудь прошел в темноте по саду.

Свой? И вдруг она видит, как темноту прочерчивает маленький красный круг: это зажженная трубка. Трубка мечется. Туда и обратно ходит она беспокойно, тревожно. В тишине ночи, в синей тьме она то разгорается ярче, то вдруг готова погаснуть - меркнет красный пятачок огня. Хозяин трубки бесшумно бродит по саду и не знает, что трубка его выдаст. Оранжевый

светляк летает перед глазами у Саши. Вот трубка опустилась, затихла, замерла. Видно, ее хозяин присел на крыльцо. Долго будет она гореть в темноте ночи - то красным, то желтоватым огнем. И Саша уснет, так и не дождавшись, чтобы она погасла.

Река широкая, утро тихое, а над головой - небо: летнее, синее.

Надо плыть медленно, чтоб успеть заметить все вокруг. На том берегу два мальчика. Один стоит, другой сидит, опустив ноги в воду, и оба отражаются в воде. Один в трусиках и красной майке - и отражение в воде тоже красное. А дальше гуси - раз, два, три, четыре гуся. Гусь вытянул шею, попил и задумался: хорошо. Прохладно. На воде едва заметна рябь. Повыше стоит церквушка. Бежит по воде - рябая, длинная, с белыми стенами и продолговатым куполом.

- Саша, вы устали? Отдохнем на том берегу?

- Нет!

И все же она устала. Когда они возвращаются, она жалеет, что не передохнула. Рядом с ней, по правую сторону, блестящее от воды загорелое плечо. Дмитрий Александрович плывет кролем, ничего не скажешь, хорошо плывет. И фыркает, как дельфин.

Он повертывается к ней лицом. Лицо смеющееся, мокрое, с налипшими на лбу прямыми волосами.

- Положите-ка мне на плечо руку, устали ведь?

- Нет! - отвечает Саша и добавляет:

- Спасибо. Нет.

На том берегу, куда они возвращаются, маленькое голубое пятнышко - это Аня. Рядом Леша. Голова у него повязана носовым платком. И сейчас же проходит усталость.

- Мама! - кричит Аня навстречу Саше.

- Иду! - кричит Саша вместо "плыву".

Берег песчаный. Она вбегает вверх, отжимая на ходу волосы, и смеется. Кожа покрыта каплями, кончики пальцев - белые. Это кровь отхлынула - так долго они были

В воде.

- Возьмите-ка полотенце, Саша! - говорит Дмитрий Александрович. Вытащив полотенце, он покрывает Сашины плечи.

Саша стоит, опустив руки, и не оборачивается.

- Саша, живо разотритесь! Ну что вы упрямитесь? - слышит она.

На солнце - тепло. Совсем тепло. Но еще не жарко. Холод реки в Сашиных пальцах, в волосах, подколотых шпилькой. Она смотрит вниз и видит среди песка две травинки. По травинке ползет муравей. Травинка раскачивается на ветру.

- Это его качели, - говорит Саша Ане и посиневшим пальцем показывает на муравья.

- Сашка! - орет Леша. - Ну, тебе же как человеку говорят, разотрись! Ведь синяя, мертвец мертвецом. Черт тебя знает, упрямая как осел!

Он хватается полотенце и начинает что есть мочи растирать Сашину спину.

- Спасибо, друг, - говорит Дмитрий Александрович.

Саша с Аней лежат на песке и смотрят на муравья. Муравей озабоченно переползает с одной травинки на другую. Аня говорит:

- Давай ему поможем. Ему трудно, а нам ничего. Муравей, должно быть, думает про нее и про Сашу, что

Они волшебники - взяли и пересадили его с одной травинки на другую. Но Ане этого мало.

- Мама, сделаем ему лодку. Мама, дай ему печенье. Мама, а у него дети есть? А где его дети?

- Завтракать! - говорит Дмитрий Александрович. Саша и Аня оглядываются.

Ну и молодец! На траве салфетка, на салфетке нарезанный хлеб, крутые яйца, огурцы. А главное, рядом, совсем неподалеку - костер. Какой он маленький при свете дня, пламени почти не видно, только тихонько потрескивают ветки. Они потрескивают и будто пытаются взлететь. Дмитрий Александрович стоит над костром, через голую руку перекинута полотенце, глаза смеются.

- Прошу, - говорит он.

Леше с ним легко. Веселый он человек. И бывалый. Глядя на белый дневной огонь, Саша думает: сколько костров разжег он, должно быть, на своем веку. Сколько разных берегов перевидал, сколько дорог исходил. Нет, изъездил, должно быть, на мотоцикле, на велосипеде, на плотях, на лодках...

- Дмитрий Александрович, а вы умеете ездить на мотоцикле? - спрашивает она.

На мотоцикле? А вы хотели бы покататься на мотоцикле? Это можно устроить. У моего приятеля...

- А на коне вы умеете? - задумчиво спрашивает Саша.

- И это можно, - не теряется Дмитрий Александрович. - В колхозе "Светлый путь" замечательные кони. Прошлым летом я снимал там...

Саша вздыхает и смотрит в огонь. О многом рассказывает ей этот дневной огонь. Обо всем, что бывает на свете, обо всем, чего она не видала. Юля ездила на практику в Самарканд. Володя был в Испании. Испания, моя Испания... Да, а потом... Потом Володя был в Париже. А этот - на Северном полюсе. А она? Что она видела на свете? У нее были - школа, Калуга, дом. А еще? Больница, где она работает. А еще?..

- Приступим, - говорит Дмитрий Александрович. - Аня, держи помидор.

Хорошо. Зато у нее есть такая страна, она называется Аня. И была у нее страна, называлась - любовь.

- Саша, ну что же вы ничего не едите?

И есть у нее страна - это простая речка, березы, песок на берегу. И плевать она хотела на его Северный полюс. На плоты и мотоциклы.

- Ну, так как же с мотоциклом? Аня, хочешь на мотоцикле?

Аня хочет. И Леша тоже. А Саша молчит.

И вдруг замолкает Дмитрий Александрович. Он смотрит в огонь. Он думает о своей стране. Как она зовется? Этого Саша не знает. Но Дмитрий Александрович знает, как зовется его страна. Она не зовется ни Аней, ни Лешей. Она зовется...

- Эх, - говорит Леша с досадой, - сюда идут.

И правда, через капустное поле, которое отделяет речку от леса, идут горожане с велосипедами, с футбольным мячом. Они кричат, смеются.

И, не сговариваясь, Дмитрий Александрович и Леша начинают собираться в обратный путь. Саша накидывает сарафан, Аня, пыхтя, натягивает сандалии, и Дмитрий Александрович застегивает ей ремешки. Домой. На дачу. В жаркий день. К гамаку. Они молча идут через капустное поле. Аня сидит на плече у Дмитрия Александровича. И вот уже виден издали забор.

- Ба-абушка! - кричит Аня. И командует:

- Митя, давай быстрее!

А через несколько дней Леша сообщил всем, что оставляет школу и поступает в авиационное училище. Что он уже ходил в Костомаровский переулок и в райком комсомола и что "теперь уже ничего не поделаешь". Никто не знал, что такое "Костомаровский переулок", но было ясно: там решаются судьбы, и спорить с Костомаровским переулком бесполезно и безнадежно.

В Костомаровском переулке заседали медицинская и мандатная комиссии, шел набор в летные училища. С характеристикой, которую дала ему комсомольская организация и подписал комсорг Ваня Меркулов, Леша переступил порог большой комнаты. В глубине ее за большим столом сидели четверо, посредине почему-то моряк.

- Товарищ капитан, - сказал Леша, - мой брат штурман, погиб в Испании. Я тоже должен быть штурманом, я ему обещал. Я здоровый, у меня значок ГТО второй ступени, я ворошиловский стрелок, у меня рекомендация комсомола, я знаю, что вы берете заводских ребят, у которых только девять классов. И родители мои согласны, только это все равно. И я уже давно решил.

Моряк взял Лешину заявление, рекомендацию и паспорт. - Пусть пройдет комиссию? - нерешительно сказал он. И остальные кивнули.

И пошло, и пошло: Лешку крутили на белом металлическом стуле, прослушивали и простукивали, он твердо назвал цвета лампочек и безошибочно определил запах воды, спирта, йода. Все было прекрасно. Маловат вес, но это ничего. Паспорт Леше уже не вернули. Не сегодня завтра его остригут под ноль, и он уедет...

Саша с жалостью смотрела на отца. И со мной так будет? - спрашивала она себя. Аня вырастет и станет делать, что захочет? И я не пойму, не услышу, зачем она это делает, и буду только сердиться и плакать?

Константин Артемьевич не плакал. Он и не кричал, как, бывало, прежде. Он ходил по комнате из угла в угол, потемневший, крепко сжав губы.

Когда человек кричит и ругается, можно ответить ему криком, даже если он твой отец. Но если человек молчит? Молчит и страдает?

- Папа, - говорит Леша. - Я даю тебе слово. Я потом кончу академию, у меня будет, будет

высшее образование. Но я давно уже решил, и в Костомаровском переулке сказали...

Нина Викторовна только плакала. Тетя Маргарита бушевала:

- Ты распустил их, Костя. Они делают у тебя все, что хотят. До чего же это дойдет?

А Леша собирался в путь. Блестя глазами, он бегал по городу, что-то покупал, не забыл сфотографироваться и одарить своим портретом чуть не всех девочек в классе. Он говорил Саше:

- Ты одна меня понимаешь. Меня удивляет, что Поливанов поддерживает родителей, он уж, кажется, мог бы меня понять. Он хороший парень, как ты считаешь? Я считаю, он парень свойский.

Леша уехал. В квартире сразу стало тихо. Прежде телефон звонил как оголтелый: "Можно Лешу? Его спрашивает одна девочка... один мальчик... его товарищ... Машина мама... Тамарин папа..." Прежде в гости ходили ребята девятиклассники. Они приходили втроем, вчетвером и всегда разговаривали так, словно им надо было перекричать целую толпу.

Сейчас стало тихо. Из Лешиних товарищей продолжал ходить только кинооператор Поливанов. К нему все привыкли. Не только Аня. Даже Константин Артемьевич и Нина Викторовна. Что они! Даже соседки. Зачем он ходил к ним в дом? Что нашел у них? Разве что грелся у этого очага - бессемейный.

- У меня всего и семьи что нянька. Она меня и вырастила. Суровая, потачки не давала.

- Погодите, - говорил Константин Артемьевич, - а что же вам мешало обзавестись семьей?

- Трудно обзавестись отцом и матерью, - уклончиво отвечал Дмитрий Александрович. - Они у меня актеры, люди перелетные. Они меня на няньку оставили, когда мне и пятине было. Потом разошлись. Ну что, обычная история.

- Не такая уж обычная, - задумчиво говорил Константин Артемьевич.

Спрашивая о семье, он, пожалуй, имел в виду не мать и не отца Дмитрия Александровича. Но, не получив прямого ответа, не находил возможным продолжать допрос.

Да, Аня, Нина Викторовна, отец и даже соседки Ольга Сергеевна и тетя Даша привыкли к Дмитрию Александровичу. Не могла к нему привыкнуть одна Саша.

- До чего интересный! - закатывая глаза, говорила Ольга Сергеевна.

Интересный? Может быть. Высокий, светлые волосы, откинутае назад, лоб широкий. Губы длинные, насмешливые. Да, хорошее лицо: умное, энергичное, твердое. Но что с того? Мало ли красивых и умных людей на свете? Что-то в нем мешало Саше. Что-то казалось ей настырным, развязным.

Он часто ожидал ее на улице у больницы. Иной раз даже после ночного дежурства поутру она, выходя из больницы, видит: он стоит и поджидает ее.

- Дмитрий Александрович, - сказала она однажды, и когда вы только работаете?

- Работа не зверь, в лес не убежит. Не смотрите так строго и не думайте, что я бездельник. Я люблю свою работу, но я сам себе хозяин, Удовлетворяет вас такое объяснение?

- Не очень. По-моему, вы делаете только то, что вам вздумается.

Он посмотрел на нее внимательно:



- Ну что ж, пожалуй, вы правы. Но мне "вздумываются" разные хорошие вещи. А если вы хотите знать, зачем я надоедаю вам, извольте: Леша, уезжая, оставил вас на мое попечение.

- Между прочим, я давно уже совершеннолетняя.

- Я тоже совершеннолетний. Но я люблю, когда обо мне заботятся и не дают мне скучать. Давайте пойдем сегодня в Музей западной живописи, хотите?

- Нет. Не хочу.

Нет, она не пойдет с ним в Музей западной живописи. Там надо смотреть и молчать. А он будет говорить без остановки, и еще непременно скажет: "Так не бывает". Саша вспомнила, как они с Андреем ходили в Музей западной живописи. Андрей повел ее в зал Пикассо, и Саша с удивлением спросила:

- Отчего ты такой? Что с тобой?

- Я боюсь обернуться, - ответил он.

Саша тотчас обернулась и заставила обернуться его. На стене у окна висело такое знакомое по репродукциям полотно - старик и мальчик. Они были синие - их лица, одежда, и глубоко глядящий взгляд, и яблоко в руке мальчика. Тоска смотрела из темных глаз, тоска безнадежная, примирившаяся, покорная и вечно живая.

Молча бродили они по залам музея. Перед самым уходом они остановились около полотна, на котором хмурился осенний вечер - размытые сумерки и осколок луны, показавшийся из-за верхушки дерева. И дерево, и небо, и полумесяц были неяркие, призрачные.

- Так не бывает, - сказал кто-то за их спиной.

- Так бывает, - отозвался Андрей.

И когда они с Сашей вышли из музея, он вдруг остановился. Были ранние осенние сумерки. Дерево против Андрея и Саши, более темное, чем небо, как бы врезалось в эту размытую синеву. И, повернув рожки к дереву, повис над ним неяркий, призрачный полумесяц. Они стояли и смотрели на это, не перемолвившись словом, очень богатые и очень счастливые.

Нет, она не пойдет с Поливановым в Музей западной живописи. Поливанов не умеет молчать, в нем нет тишины.

- Ну, а в консерваторию? - услышала она его голос.

- Нет.

- Пожалуй, вы правы. Я тоже не очень люблю серьезную музыку. Скучновато.

Эх ты... - подумала она.

Однажды он принес Нине Викторовне билет на гастроли Ленинградского балета. Нина Викторовна была счастлива, она мечтала посмотреть "Ромео и Джульетту".

- Дмитрий Александрович, милый, - воскликнула она, - и как вам удалось достать?

- Посредством улыбки! - ответил он и окончательно загубил себя в Сашиных глазах.

"Посредством улыбки!" Никогда бы Андрей так не сказал! И тут же рассердилась на себя: что это я сравниваю? Как я могу сравнивать?

"Посредством улыбки!" Да, он был самоуверен. Ему казалось, что "посредством улыбки" можно добиться всего на свете.

Иногда он вдруг исчезал на неделю, потом снова появлялся и ходил за нею, провожал неотступно и торчал у них дома, мозоля Саше глаза. Однажды Сашу позвали к телефону, и она услышала в трубке глуховатый голос:

- Саша, это вы? Я заболел. Вы не навестите меня? Саша молчала. Ей очень не хотелось идти.

- Саша, вы слышите? У меня высокая температура. Конечно, если вы боитесь заразиться...

- Приеду, - сказала Саша. - Записываю адрес.

Он не соврал: у него была высокая температура. Он лежал на широком диване, укрытый толстым клетчатым пледом.

Саша остановилась в дверях, словно споткнувшись о его взгляд счастливый и благодарный. Зачем я приехала? - подумала она.

- Как хорошо, что вы приехали! - сказал он, будто услышав, и закашлялся. Его лицо и глаза были воспалены, губы потрескались от жара. Большие руки беспомощно лежали по верх пледа.

- Вот что, - сказала Саша, - сейчас поставлю вам банки. И вы живо поправитесь.

- Банки? У нас есть банки, но я не знаю, куда нянька их засунула. И ее самой нет. Поищите в ее комнате, в шкафу.

Саша вошла в соседнюю комнату, огляделась. Железная кровать под голубым пикейным одеялом, три подушки покрыты кружевной накидкой. Над кроватью фотографии молодой женщины, видимо актрисы. Вот она, верно, в роли Марии Стюарт, вот она же в роли Офелии: с распущенными волосами и в венке. Саша подошла поближе, пригляделась: Дмитрий Александрович чем-то напоминал эту женщину. Глазами? Насмешливым ртом?

Саша открыла шкаф и на самой нижней полке нашла коробку с банками. Потом храбро постучала к соседям и спросила, нет ли спирту, Дмитрию Александровичу надо поставить банки.

Пожилая красивая дама поглядела на нее с любопытством.

- Спирту? Для банок? Пожалуйста. Я предлагала Мите поставить банки, но он почему-то отказался. Не удивлюсь, что сейчас...

Это было невежливо, но Саша не дослушала.

- Спасибо, сказала она и вернулась в комнату Поливанова.

- Где у вас спички? Снимите пижаму и ложитесь на живот, - сказала она деловито. Она быстро шлепала ему на спину банку за банкой - десять штук. Потом отошла к печке и положила руки на теплый кафель.

- Это у вас здорово получается, - сказал он. - Быстро, ловко. Почему вы ушли - вы меня боитесь?

- Боюсь? - сказала Саша, пожав плечами. Помолчала и добавила:

- Я вообще никого не боюсь.

- А скажите...

- Давайте помолчим, больной. Вам вредно разговаривать. - И тут же спросила:

- А в той комнате фотографии - это кто?

- Так как же: молчать или говорить?

- Разрешаю. Говорите.

- В разных ролях. Нянька очень гордилась ее артистическими успехами. Сейчас она убрала кое-что, а то прежде за фотографиями не видно было обоев.

- Вы любили ее?

- Кого? Мать? Гм... Моя мать была человеком долга. Она считала, что я должен есть витамины и знать иностранные языки. Она гастролировала по разным городам - актриса! И вот, приехав на один месяц в году, кормила меня только морковью и разговаривала со мной только по-английски. Результат налицо: я ненавижу морковь даже в супе, а по-английски знаю только три слова: ай лав ю...

Эх, ты... - опять подумала Саша, пропустив мимо ушей три английских слова. Эх, ты, разве так говорят о матери?

- Мы очень редко виделись, - продолжал Поливанов. - Я почти не помню ее.

Кроме дивана в комнате был только письменный стол и книжные полки вдоль стен. Книги лежали на столе, на подоконнике. Угол с белой кафельной печью казался Саше самым уютным. Она присела на низенькую скамейку и осторожно приоткрыла дверцу. На нее пахло теплом, и из глубины жарко заалели угли.

Видений пестрых вереница Влечет, усталый теща взгляд, И неразгаданные лица Из пепла серого глядят, - тихо сказал Поливанов. И, чуть помолчав, пояснил:

- Плещеев.

- Фет, с вашего разрешения, - сухо заметила Саша, захлопнула дверцу и подошла к дивану. Осторожно оттягивая побагровевшую кожу, она стала снимать банки.

- Я могу еще потерпеть, - сказал Дмитрий Александрович.

- Незачем. Вы бы видели, какой вы стали пятнистый. Ну, живо надевайте пижаму и хорошенько укройтесь. Сейчас я напою вас чаем с малиновым вареньем. Мама прислала вам баночку.

Она вышла на кухню - обыкновенную коммунальную кухню с закопченным потолком и грязными стенами (видимо, газ провели недавно); кухонные столики тесно лепились один к другому, и у трех столов стояли три хозяйки. Все три тотчас же, словно по команде, обернулись к ней.

- Как банки? - спросила пожилая красивая дама, с которой Саша уже была знакома.

- Благодарю, все в порядке. Вы не скажете, где тут стол Дмитрия Александровича?

Она налила чайник, поставила его на конфорку, чувствуя, что за каждым ее движением следят три пары любопытных глаз.

- А куда же Анисья-то подевалась? - сказала, ни к кому не обращаясь, толстая старушка в

ситцевом цветастом переднике.

- В Хотьково поехала к племяннице, а Дмитрий возьми и свались. Я к нему сунулась, а он - куда там! Я, говорит, сам себя вылечу. Вот и лечится! Сказав это, высокая, плечистая и скуластая женщина потушила свою конфорку, взяла сковородку с жареной колбасой и вышла из кухни, что есть силы топая башмаками.

- Не обращайтесь внимания, - ласково сказала та, что давала спирт. - Она, в сущности, не плохой человек, но резковата на язык. Знаете, кого вы мне напомнили? Дину Дурбин. У нее точь-в-точь такая же прическа - каштановые волосы до плеч и вьются. Теперь все девушки стали так носить. Вы смотрели "Сто мужчин и одна девушка"?

Она занимала Сашу разговором, пока не вскипел чай, сказала, что у Стоковского благородное лицо, что Милица Корьюс из "Большого вальса" красивее, зато Дина Дурбин - очаровательнее, а это гораздо, гораздо важнее.

- Вас там никто не обидел? - спросил Поливанов, когда Саша вернулась в комнату.

- Меня нельзя обидеть, - ответила Саша, накладывая в блюдце варенье и наливая чай.

- Вы ничего не боитесь... Вас нельзя обидеть... Вы заговоренная?

Саша не отвечала. Она подала Поливанову чай и снова присела на скамейку у печки.

- Меня могли бы обидеть только люди, которых я люблю, - сказала она. А чужие пусть говорят, что вздумается.

Дмитрий Александрович приподнялся.

- Значит, вас все-таки обидели? Такая высокая, прямая?

- Нет, со мной все были приветливы. Одна, которая давала спирт, сказала даже, что я похожа на Дину Дурбин.

- Вы лучше!

Эх, ты! - уже привычно подумала Саша. Пошлый ты человек, вот и все. Она подняла на него хмурые глаза, ожидая встретить улыбку, но увидела лицо серьезное и даже печальное. И вдруг смутилась:

- А если мне что-нибудь обидное говорят близкие люди, я тоже не обижаюсь, - продолжала она. - Они ведь не хотят меня обидеть. Я знаю, что не хотят. Вот и получилось, что я заговоренная. Сердиться умею, а обижаться нет.

- Понимаю. Вы очень правильная и рассудительная. И вы постановили: не обижаться.

Ничего-то ты не понимаешь, - подумала Саша и ответила:

- Да. Постановила.

Ей очень хотелось поскорее уйти. Она взяла свое пальто, брошенное па спинку стула, и молча стала одеваться.

- Уже? - спросил он таким печальным голосом, что Саше на минуту стало его жалко.

- Поздно, - ответила она, смягчаясь. - А вам надо уснуть. Укрыться потеплее и уснуть. До свидания, Дмитрий Александрович

- Да подойдите же сюда, не бойтесь.

Саша подошла, он взял ее руку своими горячими руками и осторожно поднес к губам.

Спасибо, сказал он.

Выздоровливайте. Вы теперь - мой больной, а мои больные всегда выздоравливают.

Спасибо, - повторил Поливанов.

Саша часто вспоминала, как однажды она с Дмитрием Александровичем возвращалась из Ильинского в Москву. В полночном вагоне было пусто. Они сидели у окна друг напротив друга. И оба глядели в открытое окно. Изредка виднелись огоньки, там, далеко в поле. Темные деревья заполнили летнюю землю. Почти невидимые, они, шумя листвой, проносились мимо.

Почему она запомнила этот ночной час, когда и слова-то никакого не было сказано? Неприметный, он запал в память и жил там вместе с деревьями, мчавшимися мимо вагонного окна.

Потом настала осень, деревья пожелтели. Они печально стояли под дождем, на ветру. А потом покрылись снегом. Весной они отряхнут снег с озябших веток. Проглянут робкие зеленые почки, потом снова все зазеленеет. Летом бывает речка. Зимой - коньки, лыжи. Весной... Весной продают на углах ландыши.

И были лыжи. И были коньки. И дни мелькали, как деревья за окном поезда.

Понемногу стала привыкать к Поливанову и Саша. Когда, выходя после работы на улицу и оглядываясь, она не видела его и понимала, что он занят на съемках, ей становилось грустно.

Она любила вместе с ним заходить в детский сад. Любила бродить с ним по улицам - и не столько разговаривать, сколько слушать. Чего он только не знал! И каких только не читал книг. И все он умел - и наладить крепления к лыжам, и починить электричество.

В Доме кино он был свой человек. Но вот туда Саша не любила с ним ходить. Там все называли его Митя - и взрослые красивые женщины, и мальчишки - молодые операторы и актеры. Он весело всем отвечал, помахивал рукой, знакомил Сашу с разными знаменитостями. Он представлял ее по-разному - то "моя молоденькая приятельница", то "мой друг", то ни с того ни с сего "моя подшефная". Все это Саше не нравилось. Кроме того, в Доме кино было много очень нарядных женщин.

У Саши была черная юбка и две кофточки - белая и голубая. И одно выходное платье. Она и Нина Викторовна считали его очень красивым. Оно было синее, в складку, с белым воротничком. Нина Викторовна говорила, что белый воротничок очень оживляет.

Но когда Саша с Дмитрием Александровичем пришла в этом платье в Дом кино, она поняла, что это вообще не платье. И туфли ее - не туфли, и чулки не чулки. Все глядели мимо нее или небрежно скользили взглядом. Лица встречных - особенно женщин - словно говорили: "Кто это? Это - не наша. Чужая".

И в самом деле, тут ей всегда было не по себе, хотя она старалась держаться гордо и независимо. Дмитрий Александрович был добрый человек, он сказал однажды будто мимоходом:

- Терпеть не могу расфуфыренных женщин. Мне нравится, как вы одеваетесь: скромно и без претензий.

Он сказал ей это перед тем, как погас свет в зале. И вдруг зажегся свет - свет чужой жизни, чужого горя, чужого счастья. На экране были Чаплин и слепая цветочница. Далеко - за океаном, за тридевять земель, в городе, которого Саша никогда не видала и, наверно, никогда не увидит. Но ей вдруг не стало дела до чьих-то красивых платьев, до чьих-то туфель. Билось и замирало сердце, навертывались слезы. Руку Саши тихонько пожала рука Дмитрия Александровича, и она счастливо и открыто ответила на это пожатие.

Потом они шли по московским улицам и переулкам. Им не хотелось ни в метро, ни в троллейбус. Зачем метро и троллейбус? Зачем люди? Ничего не надо! Надо только вот так идти под дождем, по скользкой мостовой и вспоминать, вспоминать.

- Вы хотите чаю? сказала Саша, когда он довел ее до калитки

- Не откажусь, - отметил Дмитрий Александрович.

Они поднялись наверх и тихо вошли в комнату, где спала Аня.

- Нынче вы добрая, - насмешливо сказал Дмитрий Александрович. - Как выпивший миллиардер. Я все вспоминаю, каким он становится, протрезвившись. Глаза холодные, неприступные: "Ты ли это? Я и знать тебя не знаю".

- Очень странно. Какое же сходство? - сказала Саша.

- Да ведь с вами постоянно так - как купанье в озере: то струя теплая, то ледяная. Есть такие озера с ключами на дне.

Саша помолчала, не зная, что ответить. Потом вышла на кухню поставить чай.

Он сел перед Аниной кроватью и облокотился на перекладину. Аня тихо дышала во сне. Он глядел и глядел на девочку, не решаясь укрыть ее голую коленку, торчавшую из-под одеяла. Зарумянившееся спящее личико, на лоб свесилась прядь светлых волос. Длинные ресницы. Сашины ресницы. Сашин лоб. Брови? Сашины. А рот не Сашин. Твердые губы на детском личике - чьи они? Он перевел глаза на фотографию, висевшую на стене, и снова взглянул на девочку.

Распахнулась дверь, на пороге - Саша. Она остановилась, посмотрела на Дмитрия Александровича, и вдруг лицо ее окаменело. Он поднялся ей навстречу.

- Что с вами? - спросил он. Лицо у нее дрожало.

- Уйдите, Дмитрий Александрович. Очень прошу вас, уйдите.

- Что случилось, Саша? - повторил он.

- Ничего не случилось. Я говорю: уйдите!

- Я уйду. Но это - не по-человечески!

- Пусть не по-человечески. Уйдите.

Прошло несколько дней. Было часов около пяти, люди уже возвращались с работы. На лестнице, прямо на ступеньках, сидел человек. Он сидел тут с самого утра и курил трубку. Лицо у него было серьезное и задумчивое. Чего он ждет? Этого никто не знает. Жильцы проходили мимо, оглядывались, удивлялись и шли дальше. Интеллигентный человек. Хорошо одет. Не мальчишка. Чего он тут сидит?

Соседка из 14й квартиры успела сходить за хлебом, вернуться домой. Вспомнила, что забыла

купить подсолнечного масла, сказала: "Эх я, голова!", снова сбегала в магазин и вернулась, а он все сидел. На лестничных площадках давно зажглось электричество, а он все сидел. Огонек трубки горел ярко в полутьме лестницы. К потолку бежал дым.

- Что вы здесь делаете, Дмитрий Александрович? - с изумлением сказал Константин Артемьевич, входя с улицы.

- Сижу, - спокойно ответил Поливанов.

- То есть как это так - сидите? - продолжал изумляться Константин Артемьевич. - Что это значит? Пойдемте наверх.

- Нет, я подожду вашу дочь.

- Она назначила вам свидание на лестнице? - спросил Константин Артемьевич. - Тогда сидите! - и он стал подниматься по ступенькам.

- Свидание... да... - сквозь зубы произнес Поливанов. И вдруг в дверях показалась Саша. Не поздоровавшись, прошла по краю ступеньки, на которой сидел Поливанов. Ани с ней не было, а он так надеялся именно на Аню.

- Саша! - сказал он. Саша не оглянулась.

- Нет, вы должны, вы обязаны мне сказать, я не собака, чтоб со мной так обращаться.

Он догнал ее, схватил за плечи и повернул к себе. Она молча, спокойно сбросила его руки.

- Не пущу! - сквозь зубы сказал Поливанов. - Ответьте, а то я...

- Ну, что вы? - тихо спросила Саша.

- Я... Я убью вас.

- Ну и убивайте - легко согласилась Саша.

Он разжал кулаки, плечи его опустились.

- Сашенька так он никогда не называл ее, - Сашенька... Я просто очень прошу вас... пожалуйста, скажите мне, что случилось?

- Мне нечего вас сказать, - ответила Саша... - Я...

Она умолкла. Ну что ей было сказать? Не могла же она сказать, что... Она вспомнила, как пошла, как увидела его над кроватью. Лицо у него было такое... Она увидела и испугалась... Чего она испугалась? Она долго потом стояла у окна и плакала. Почему она плакала?

А потом Анюта проснулась. Ее глаза смотрели испуганно. Она сказала "к тебе!" так требовательно, что Саша не осмелилась спорить. Она держала дочку на коленях, укрывая ей ноги свободной рукой.

- А ты меня любишь? - спросила Аня.

- Только тебя.

- А Лешу? А бабушку?

Саша не отвечала. Она укачивала Аню и повторяла: "Только тебя..."

- Саша! - услышала она и, очнувшись, взглянула на Поливанова.

Они все еще стояли на лестнице, мимо проходили люди и удивленно оглядывались. Лицо у него было злое, но в глазах дрожало что-то, чему Саша не знала названия.

Что же мне сказать? - снова подумала она. И, презирая себя, сказала:

- Когда мы пришли к нам... ну, помните, после кино... Я вышла на кухню за чайником. И Ольга Сергеевна говорила маме: "У него серьезные намерения". Это она про вас...и про меня...

Зачем я вру? - подумала Саша. Да разве дело в том, что сказала Ольга Сергеевна?.. Саша пропустила мимо ушей глупые слова, но, войдя в комнату...

- И мама с ней согласилась, - добавила она упавшим голосом.

Поливанов снова сел на ступеньки и закрыл лицо руками.

- Саша, вы меня доконаете, - слышался его приглушенный голос, и Саше показалось, что он смеется. - Ну как же я могу отвечать за чужую пошлость... или глупость... Соседка болтает... оказывается, виноват я... Неужели вы не верите в чистоту человеческих отношений? В дружбу? В дружбу между мужчиной и женщиной? Так кто же из нас заражен пошлостью? Нет, вы ответьте мне!

Саша не знала, что ответить. Раздавленный ее пошлостью, Дмитрий Александрович, лохматый еще более, чем обычно, в расстегнутой куртке, какой-то растерзанный, замученный, сидел на ступеньке и смотрел на нее с укором.

- Простите меня, Дмитрий Александрович, - тихо сказала Саша. - Я действительно подумала... простите меня.

И он простил.

"10 апреля 1941 года.

Дмитрий Александрович принес Ане в подарок книжку о глупом мышонке. Сегодня она уселась за книжку и решила читать сама, долго пыталась начать и наконец, ничего толком не вспомнив, сказала:

- Ну, в общем, кошка съела мышонка...

Аня зовет частушки свистушками. Охотно поет, не стесняется. Дм. Ал. научил ее такой частушке:

Не страдала и не буду, Пускай не надеется. Если он моя судьба, Никуда не денется.

По-моему, зря. Уж если учить, так чему-нибудь другому.

4 июня 1941 года.

Сегодня мы ехали в метро. Дм. Ал. держал Аню на руках. И вдруг она спросила его:

- Митя, мы едем в темно?

Она замечает то, чего не замечаем мы. Когда сидишь в вагоне, видишь людей, смотришь, нет ли свободного места, следишь, не проехать бы остановку. А она видит тоннель, темные стены вместо дневного света, вместо неба и деревьев".

Все шло по-прежнему. Они шагали по улицам дневным и вечерним. Ходили в театр.



Снег растаял, земля заблестела лужами. Потом лужи высохли, и асфальт то покрывался летней пылью, то сверкал свежей полировкой. Но почему же все было хоть и по-прежнему, но совсем иначе?

Лучше? Как у друзей после ссоры? Нет. Стало хуже. Что исчезло простота? Доверие? Нет, она доверяла Дмитрию Александровичу. Почему же, когда он по вечерам провожал ее до калитки, она прощалась с ним быстрее, чем прежде?

Она невзлюбила тьму у калитки. Невзлюбила темную парадную и ступеньки, на которых он сидел тогда, дожидаясь ее.

Она бывала довольна, когда в кафе мороженое кто-нибудь третий подсаживался к их столу. Когда он звал ее в кино, она говорила:

- Давайте захватим с собой Володю и Юлю.

- Вам бы культурником работать, Саша, а не сестрой милосердия, отвечал Дмитрий Александрович. - Ну что ж, давайте захватим.

Саша приглашала Юлю, а Юля говорила:

- Нет уж. По-моему, Дмитрий Александрович не очень-то любит хоровое пение. Идите одни.

В кино она следила за тем, чтоб ненароком не прикоснуться к нему плечом. Сколько раз, когда они сидели в заколдованной полутьме зала, ее рука тянулась к нему и тотчас украдкой уходила, будто спохватившись. Он никогда теперь не брал ее под руку. Никогда не задерживался у калитки. Да, это был настоящий друг.

Он входил во все дела семьи. Когда Саша оставила работу и начала готовиться к экзаменам в мединститут, Дмитрий Александрович принес ей гору учебников и помог составить план занятий.

- Главное - химия, - говорил он, - и, пожалуй, немецкий. Сочинение вы напишете без особой подготовки, в мединституте на сочинение не очень строго смотрят. Вот химия другое дело.

Когда он услышал слова Нины Викторовны, что с деньгами туговато, а машина для переезда на дачу будет стоить дорого, он сказал:

- Ба, ничего нет проще! У нас грузовые то и дело ездят по Казанке, запросто подбросят и вас с вещами.

И когда в начале лета на побывку приехал из училища Леша, он сказал ему:

- Зайди-ка завтра ко мне на фабрику, я все оформлю. Сам и договоришься с шофером, он у нас свойский парень. Жду завтра к трем, ладно?

Как люди быстро все забывают. Сперва страдают, плачут, боятся назвать имя того, кого уже нет. Потом страдание отступает, а вместе с ним уходит память.

Нет, - говорит себе Леша, - я тебя помню и никогда не забуду. Пусть все забыли, пусть Саша забудет, а я тебя помню, ты для меня живой.

Ночь. Все спят. Тихо похрапывает во сне отец, ровно дышит мама. И вдруг она просыпается и говорит сквозь сон:

- Что ты ворочаешься? Не болен ли? Живот, да? Живот! У него душа переворачивается, а они только и знают свое.

- Отстань! - говорит Леша матери и ложится на другой бок.

В комнате, полной сонным дыханием матери и отца, ему отчетливо видится Андрей, его лицо и улыбка, слышится скрип шагов и веселый голос: "Леха!"

Леша снова вздыхает, пытаясь уснуть, но никак не может. Вспоминается то одно, то другое.

Он был сильно влюблен, до того влюблен, что писал стихи и прятал их в коридоре, в щель между сундуком и стенкой. И вот однажды мать, доставая из сундука шерстяные вещи, обнаружила эти стихи и, если бы не Андрей, прочитала бы их при всех в столовой. Андрей вырвал стихи из рук тещи и отдал Леше смятые листки:

- Дуралей! Вот тебе ключ от моего нижнего ящика - запирай! Стихи, дневники, что там еще у тебя.

Нина Викторовна обиделась, поджала губы, целый день не разговаривала с Андреем. Андрей извинился за грубость, но был тверд и не дал прочесть прилюдно Лешины стихи.

А тогда... когда в дом пришла их классная руководительница? Она пришла с ужасным известием, что он, Леша, вот уже неделю не ходит в школу. К счастью, отца и матери не было дома. Навстречу учительнице вышел Андрей. Он только что вернулся из академии и был еще в военной форме - от этого он казался старше, чем был на самом деле. Да, сказал он, - я его брат. И Леша, корчась от ужаса и прильнув к замочной скважине, слушал из соседней комнаты.

Очень прошу вас не волновать родителей, у них больное сердце, я сам с ним поговорю. И завтра приеду в школу. жалела ее больное сердце и ничего ей не сказала.

Андрей вошел в комнату, нахлобучил Леше шапку, почти насильно надел пальто, и они спустились во двор.

- Давай выкладывай, - сказал Андрей, - только, пожалуйста, без всякого вранья, начистоту.

И Леша рассказал все начистоту, почти без вранья. Он не ходит в школу оттого, что его в школе не понимают. Он ходит в тургеневскую читальню и читает Жюль Верна и Дюма. Он ищет забвения, потому что выхода у него нет.

- Стоп! - сказал Андрей. - Не выворачивайся! Давай по порядку. С самого начала.

Пришлось рассказывать по порядку. У Лешы есть друг. Учится в параллельном классе.

- Имя? - беспощадно спросил Андрей. Леша молчал.

- Имя? - повторил Андрей.

- Ну, Тамара...

- Фамилия?

- Ну, Чудина.

- Так. Продолжай. В чем же загвоздка?

А загвоздка в том и была, что Лешин друг Тамара училась в параллельном, а не в его, Лешинем, классе. Леша хотел учиться вместе с Тамарой, сидеть с ней на одной парте. Или, ладно, где-нибудь через парту, но все-таки в одном классе. Как этого добиться? Когда-то Саша осталась на второй год, чтоб учиться с Юлей. Так неужели он, Леша, не придумает, как сделать, чтоб его перевели к Тамаре.

И тут случилось так, что одного провинившегося парнишку перевели в наказание в параллельный класс. Леша возликовал, путь был найден. Пока он придумывал, как бы ему похлестче провиниться, к ним в шестой "б" явилась новая молодая учительница физики.

Леша вертелся изо всех сил, разговаривал с соседом, учительница остановила на нем свои большие пристальные глаза и строго сказала:

- Встань! Как твоя фамилия? И тут Лешу осенило.

- Забыл! - ответил он весело. Все захохотали. Учительница сказала:

- - Пстой и постарайся вспомнить! - и продолжала урок.

Леша стоял как столб, кругом смеялись. Чуть погодя учительница спросила:

- Ну как, вспомнил? Он упрямо отвечал:

- Нет.

И тогда учительница сказала:

- Выйди из класса! И не возвращайся без отца. Отец, наверно, помнит твою фамилию!

Несмотря на такие слова, Леша удалился ликуя. Он шел по коридору счастливый: он добился своего!

Поначалу так и было: девчонки орали, что он распустился и его надо перевести в другой класс. Но мальчишки стали стеной и сказали, что на первый раз это слишком жестоко - разлучать Лешу с классом, в котором он учится всю жизнь. Он, мол, хороший товарищ и любит коллектив. И было постановлено: на два месяца снять с него пионерский галстук. Тут Леша затосковал и перестал ходить в школу.

- Так, - сказал, выслушав его, Андрей, - значит, тебе мало, что ты живешь с ней на одной планете, в одном городе и даже учишься с ней в одной школе. Тебе непременно надо учиться в одном классе и сидеть на одной парте, неблагодарный ты человек!

На следующий день Андрей пришел в Лешину школу.

Весь в холодном поту, Леша увидел, как старший брат открыл дверь директорского кабинета. Он не знал, что пришлось там вынести Андрею! ...Молодой военный вежливо поздоровался с директором.

И сказал, что он убежден: Лешу надо наказать примерно. Не только снять галстук, а именно перевести в другой класс, разлучить с коллективом.

Директор уважительно слушал молодого военного - старшего брата, который был так суров, так принципиален и ни при каких обстоятельствах не позволял себе поддаться чувству жалости: он требовал для Леша сурового наказания.

- Ну что же, - сказал директор, - пожалуй, вы правы! Но в какой же из параллельных классов его перевести?

Андрей похолодел - он не знал, в каком из шестых классов учится Лешина любовь. И тут он увидел на столе директора стопку журналов - это были журналы шестых классов. Почему они оказались здесь, а не в учительской неизвестно. Но Андрея это выручило. Зазвонил телефон, директор взял трубку. Как бы машинально Андрей открыл один журнал, другой. Он глядел в конец списка. Вот она - Чудина! Чудно!

- Знаете, - сказал он, - вот что мне пришло в голову - кажется, судя по рассказам брата, довольно слаженный коллектив в том классе... Одним словом, в шестом "в".

- Вы совершенно правы! Это класс Анны Ивановны, отличного воспитателя. Прекрасно. Там его возьмут в работу.

И Алешу перевели в шестой "в". И он оказался с Тamarой не только на одной планете, но и на одной парте.

Вот как бывает в жизни, вот как поступают старшие братья.

Разве такое забывается? Разве был у Леши случай сомневаться в Андрее? Нет, никогда. Он знал, что Андрей никогда его не оставит, всегда будет ему и братом и другом. Андрей любил Сашу, но и Леша был дорог ему. Не только потому, что он Сашин брат, а сам по себе. Он водил его тайком от родителей прыгать с парашютной вышки. Он брал его с собой, когда ходил на лыжах. Прочитав что-нибудь интересное, говорил:

- Брось своего Дюма, держи-ка вот эту книгу. Уезжая в Испанию, он крепко обнял Лешу и сказал:

- Береги Сашу, слышишь? И Леша берег.

И когда Андрея не стало, он берег Сашу за двоих - за себя и за Андрея.

Застенчиво и сердито он сказал однажды Саше:

- Я буду штурманом. Как брат.

Как это так - Андрея нет? Он есть. Он в Леше. В Ане. И по тому, как Саша никогда не произносила имени Андрея, Леша знал: она помнит его. Не забыла. А сейчас? Что случилось сейчас? Он, Леша, не был дома около года, а как все изменилось! Сашу узнать нельзя. А Поливанов?

Кинооператор Поливанов был сначала его, Лешиным, оператором, его другом. Он, Леша, ввел Поливанова в дом, подружил с родителями, познакомил с сестрой. Так считал Леша, так он думал не день, не два - долго.

И вот однажды они шли втроем по лесу и Леша рассказывал сестре и Поливанову про последний футбольный матч.

- Дмитрий Александрович, - сказал Леша, - все-таки напрасно вы болеете за "Динамо", вот ЦДКА...

Поливанов молчал. Леша взглянул на него и вдруг понял, что Дмитрий Александрович и думать забыл про матч и что наплевать ему и на "Динамо" и на Лешу. Он смотрел на Сашу. Как смотрел!

У Леши даже сердце екнуло. Он отвернулся и умолк. И Поливанов этого даже не заметил. Саша сказала:

- Я тоже болею за ЦДКА. И только тогда Дмитрий Александрович опомнился и произнес:

- Что?

И всем троим стало неловко. Леша шел и думал: когда это случилось? И почему он прежде ничего не замечал? Так что! это он, Леша, предал Андрея? Ввел в дом невесть кого. Потому, что Поливанов, лживый, неискренний, купил его, как мальчишку, притворялся другом,

приглашал в Дом кино, а самому была нужна только Саша. Он, Леша, видит Поливанова насквозь, а вот видят ли остальные? Саша, родители, тетки? Он должен вмешаться и всех предостеречь. Только одно и слышно: порядочный человек...

Любит ребенка... Любит ребенка? Вранье, вранье, вранье! Просто подлизывается к Сашке. И к родителям подлизывается. Когда Леша хлопотал об училище, Поливанов говорил:

"Останешься недоучкой. Кончай десять классов и иди в любое училище, никто не задержит". Вот как он подлизывался, неискренний человек. И почему Леша тогда этого не понял?

Мало того, уезжая из Москвы, он сказал Поливанову: "Поручаю вам Сашу. Она тут без меня с тоски пропадет". Дурак, вот дурак! А теперь тетки говорят: "серьезные намерения, нашла свою судьбу". При Саше говорить боятся, а при нем, при Леше, распустились: "Дмитрий Александрович?

Интеллигентный, культурный, обаятельный". Да уж, обаятельный! Ему на теток наплевать, Леша твердо знает: наплевать! А как он с ними разговаривает? Обаятельно! До чего же их легко купить! Слепые они, что ли? И только мужская половина семьи - отец и Леша - сохраняет трезвость.

- Как ни говорите, богема! - вздыхал Константин Артемьевич. - Он, конечно, милый человек - ваш Поливанов, но люди искусства не считают себя ответственными за полет своих чувств. У него першит в левой ноздре, а он уверяет, что умирает досрочно от любви.

Ну, а Саша? На третий день после своего приезда Леша спросил:

- Ты что, не влюбиться ли собралась?

- Дурак! - вспыхнув, сказала Саша и запустила в него книгой.

Вот вам и весь ответ. Но Леше полегчало. Нет, - думал он. Это тетки выдумывают, Саша за Поливанова не пойдет! Она любит Андрея. И будет любить всегда.

И вот Леша стоит в вестибюле кинофабрики в Лиховом переулке. Он мнет в руке кепку, ищет глазами друга их семьи оператора Поливанова.

Дверь за Лешиными плечами хлопает, Лешу толкают. Он высокий парнишка, но его почему-то никто не замечает. Эх, зачем он пришел в штатском!

Почему они все такие довольные? - думает Леша. У них такой вид, будто они самые главные на земле. Когда Леша еще учился в своей 14й школе, он не любил соседнюю, 42ю. Он считал, что там много "типов" - что это значило, не мог бы объяснить даже он сам. Так вот, сейчас Леше казалось, что на кинофабрике тоже множество "типов".

Мимо Леши пробежала молоденькая девушка. Красивая и разодетая, как в кинокартине, она обдала его запахом духов. Она тоже плевать хотела на Лешу. Она тоже была "тип". Через плечо у нее висел фотоаппарат, новенький "ФЭД", и это тоже оскорбило Лешу. Люди кружились, сталкивались, перекликались, шутили им одним понятными шутками. Они как будто говорили: "Мы творим искусство. А тут ходят всякие". "Всякие" - это был Леша.

Леша был здесь не первый раз. И раньше ему тут очень нравилось. Роскошную фразу о том, что "искусство облагораживает человека", и остроумнейшую шутку "Кланяйся тете Уте", которую все они повторяли, Леша унес именно отсюда. И красивые девушки с киноаппаратами тоже очень ему нравились. В школе, бывало, он любил говорить ребятам небрежно: "Поливанов меня познакомил вчера с одной..." Поливанов! Вот что ему не нравилось.

- Вы наверх? Скажите, пожалуйста, Поливанову, что его ждут насчет грузовика... - сказал он Лузину, молодому человеку в куртке, блестящей от обилия молний. Главную молнию от подбородка до живота он то опускал, то поднимал, и казалось, что он делает себе харакири..., Лузин - это был помощник Поливанова - взлетел по лестнице, сверкнув резиновыми пятками, и Леша услышал его голос. Он кричал:

- Эй, Поливанов, тебя шуриин дожидается! Шуриин? У Леши отчего-то стало сухо во рту.

Почти тотчас же на лестнице показался Дмитрий Александрович.

- А, ты уже здесь? Вот и прекрасно! Ну, как дома?

- Дмитрий Александрович, - сказал Леша, бледнея, скажите, пожалуйста, что такое шуриин?

Шуриин? Погоди, погоди... Тесть, свекор, деверь... Я всегда путаю. Постой. Шуриин это что-то вроде деверя. Ах да, точно: шуриин это брат жены.

Горло у Леши похолодело, как будто он сразу проглотил три порции мороженого. Мороженое катилось вниз, замораживая все на своем пути. Вот оно!

- Брат жены? А разве Саша вам жена?

- Нет, сказал Поливанов. - Что за странный вопрос? Будто оглохнув и, будто не слыша, ослепнув от ярости, Леша кричал:

- Нет, ты скажи - она кто, жена тебе?

- Что-то я не помню, Леша, когда мы пили на брудершафт!

- Плевал я на брудершафт! Я давно уже вижу, давно понимаю, что ты задумал. Тебе кажется, если мне семнадцать, так я не понимаю? Не понимаю, да? Все понимаю! Как ты смеешь? А ты знаешь, как она Андрея любила? А ты знаешь, как Андрей погиб? Он был герой! А ты...

Леша не заметил, как в вестибюле стало тихо. Все замерли, прислушиваясь.

- Мальчишка. Дурак, - сказал Поливанов тихо. - Замолчи сейчас же!

Сам не понимая, как это получилось, ужасаясь тому, что делает, Леша замахнулся и ударил Поливанова в грудь.

- Вот тебе за брата!

Рука поднялась для ответа и опустилась, не ударив. Поливанов круто повернулся и пошел прочь.

Поливанов шел из студии, задыхаясь от гнева. Что за шалая семья? думал он. И брат шалый, и сестра шалая!

"Уходите!" - вдруг послышался ему Сашин голос, и он сжал кулаки. Да, не ходить туда, не ходить - вот и все! Что в ней? Зачем это мне? И нехороша она совсем... Умна? Да и не умна! Какое-то глупое ребячество, наивность какая-то не по возрасту. Ведь как-никак у нее ребенок. А ведет она себя так, словно думает, будто детей приносят аисты. Так что же, что? Ничего! И стоило ему сказать это слово, как вся она предстала вдруг перед ним. Ему стало жалко ее, и страшно за нее, и он понял, что не надо ни о чем себя спрашивать - ни о том, умна ли она, добра ли, красива. Сквозь боль и обиду он вдруг увидел ее. Вот она наклоняется к больному ребенку и говорит: "Сейчас, сейчас, дорогой, сейчас они уйдут". Вот сидит в кино, подняв лицо к экрану. Он увидел ее полудетское взволнованное лицо и услышал голос: "Если она

умрет, так уж лучше уйдемте..."

"Она не умрет!" - отвечал он, сам еще не зная, что будет дальше.

Никогда он не был в такой зависимости от другого человека, и эта зависимость от ее взгляда, от улыбки мучила, тяготила его.

Как же это случилось? Когда? - спрашивал он себя - и не мог ответить.

Наверно, Сашу можно обнять за плечи. Если холодно, стянуть с ее озябших рук варежки и погреть их своим дыханием. Наверно, Сашу можно поцеловать. Целовал же он других женщин! Но то, что было с другими малостью, с ней казалось невыносимо. Он даже вообразить не мог, что наклоняется к этому лицу и целует. Он только один раз поцеловал ее руку, один-единственный раз, когда она навещала его, больного. Вдруг он вспомнил Лешу и безобразную сцену на кинофабрике. Как найти в себе силы, чтоб пройти мимо этого? Не заметить и снова постучаться в ту дверь?

"Уходите!" - снова послышался ему Сашин голос, и он скрипнул зубами. Да, не ходить туда, не ходить.

- Не постучусь! Уйду! - сказал он себе. Поливанов знал, что он сейчас сделает. Спустился к Трубной, пошарил в карманах, отыскал гривенник и подошел к Телефонному-автомату. Он едва дождался, пока освободится телефон. Какая-то женщина, стоя в будке, кричала:

- Я тебя не про салат спрашиваю! Салат - особая статья! Я про тесто! А подсолнечного? Сколько подсолнечного?

Поливанов слушал все это и думал: "Бог ты мой, что она говорит? И зачем она только живет на свете?"

- Привет Танечке! - кричала женщина в телефонной будке. До скорого! Есть такое дело!

Она вышла... Поливанов с ненавистью взглянул на ее полное, распаренное от жары лицо, вошел в будку и набрал номер.

- Митя! Где вы пропадали? Как вам не стыдно? - услышал он обрадованный женский голос.

- Я хочу вас видеть, - сказал Поливанов. - Сегодня. Да. Сейчас же. Хорошо. У "Националя". Не опаздывайте! Какие гости? Пошлите всех к черту! Я вас жду. И он ждал у входа в "Националь". Он говорил, почти заклинал: "Скорее, скорее, да где же ты?" - как будто собирался совершить единственный в жизни шаг, единственный и непоправимый.

Она пришла не с той стороны, откуда он ждал ее. Высокая, стройная, ничуть на Сашу не похожая - черноволосая и черноглазая. Он кинулся к ней, поцеловал ее руки. Она взглянула на него, тронутая и удивленная.

- Митя, я соскучилась. Куда, вы исчезли?

- Потом, потом. А сейчас давайте пить хорошее вино и есть вкусные вещи. Чего вам хочется, Машенька?

Она сидела против него за столиком, пила кофе, ела мороженое. Он, крепко сжав губы, смотрел в зал, почти не слушая ее болтовню.

А она говорила:

- Вы слышали, Митя, что Татьяна Сергеевна оставила Костю? Ну, как же, вся Москва только

этим и занята. И кто-то очень смешно сказал: после каждого такого случая хочется бросать мужей. Правда, смешно? Знаете, как те домашние гуси, которые хлопают крыльями, когда над ними пролетает косяк диких? Они вовсе не приветствуют их, они хотят улететь за ними. Митя, вы меня не слушаете?

Она говорила, а глаза ее смотрели грустно. И от этого его собственная боль становилась сильнее. Заиграл джаз. На лицах музыкантов лежало странно безразличное выражение. Оглушительный рев джаза, эти безразличные, застывшие лица, кружившиеся пары, и женщина, пришедшая по его зову, - все было ни к чему.

- Вам плохо, Митя? У вас что-нибудь случилось? Митя, вы меня слышите?

- Я слышу, слышу, Машенька. У меня ровно ничего не случилось.

Он не слушал. Он пил рюмку за рюмкой и думал: "Нет, я наплюю. Если человек хочет наплевать, он может, надо только очень сильно захотеть. А я хочу. Я ее не увижу больше. Я забуду, где она живет. Встретившись, я не узнаю ее, потому что не вспомню ее лица. Наконец я просто напьюсь. Я буду просыпаться, а бутылка рядом. Выпью - и встану, умоюсь и пойду на работу... И ничего не было... И опять напьюсь, и опять... А потом позвоню Маше, и она придет. И мне будет тепло с ней, и она будет благодарна просто за то, что я рядом. Я хочу, чтоб меня любили. Чтоб мне радовались. Чтоб меня ждали. Чтоб жить без меня не могли. Вот так..."

Он вел Машу домой. И она снова спрашивала:

- Вы не слушаете, Митя?

- И он отвечал:

- Я слушаю, слушаю, Машенька.

Когда они дошли до ее дверей, она подняла к нему лицо и спросила:

- Зайдете, Митя? И тогда Поливанов, сам удивляясь жестокости и неожиданности своего поступка, пошел, почти побежал по улице не оглядываясь.

Через неделю он уехал. Взял отпуск и уехал на Белое море, где руководил биостанцией его давний приятель, Уехал, не позвонив Саше и не простившись с ней.

Там, где жили биологи, все было мирно, тихо, ясно. Лесистая бухточка. Брезентовые палатки и мачта с выгоревшим на солнце вымпелом. Море, небо, простор, безлюдье.

Темнели кресты, серые, покосившиеся. Их ставили давно, в память благополучного возвращения из плавания, после сильных штормов. Море билось о берег. Так оно билось до встречи Поливанова с Сашей, так будет биться, когда их обоих не станет.

По вечерам студенты - их было на острове всего девять человек сидели у костра, играли на гитаре и пели. Поливанов вместе со всеми жег костры, помогал в работах, которые велись на станции. Он был прекрасным гребцом, умели столярничать, и плотничать все это пригодилось здесь.

Однажды он вел моторку. Лодка, мелко вздрагивая на волне, взяла курс в открытое море. Чуть левее лодки плыла утка с выводком утят. И вдруг, оторвавшись от воды, она подлетела к лодке и стала "заманивать" вправо. Поливанов резко отвернул вправо, успокоенная утка что-то прокричала вслед, подлетела к утятам и скрылась вместе с ними в волнах.

Вот бы Ане рассказать, - подумал Поливанов. Заметил, что подумал спокойно, без боли, и



вздыхнул с облегчением. Вечерами он подолгу бродил вдоль берега и удивлялся, что воспоминания поворачивались теперь как-то иначе - все, чем он дорожил, словно потускнело.

Он вспомнил, как Саша впервые пошла с ним на лыжах. Был сияющий зимний день, они шли по лесу, не шли - летели.

- Как я давно не ходила на лыжах! Пожалуй, с самой школы, - сказала она вдруг, повернув к нему полное жизни лицо. И спустя минуту добавила:

- С Андреем мы ни разу не ходили.

Впервые она произнесла при нем это имя.

- Я носила тогда Анюту, - сказала она, помолчав.

И Поливанова почему-то тронула простота, с какой это было сказано. А теперь он говорил себе: "Ну что меня умилило? Обыкновенная медицинская привычка называть вещи своими именами. Ах, простота, ах, прямодушие, ах, доверчивость, ах, чистота! Смешно, право. До чего все преувеличиваешь, когда любишь. Любишь? Нет, это была не любовь, а увлечение". И очень хорошо, что он сумел вовремя освободиться от всего этого.

И еще он вспомнил: однажды к их столику в ресторане Дома кино подсел известный актер. Обычно угрюмый, он на этот раз был чуть навеселе и поэтому оживлен и разговорчив.

- Вот задали мне сейчас каверзный, понимаете, вопрос: какая любовь сильнее - та, что не знает искушений, или та, что их преодолевает? Ну, Митя, как ты скажешь? Я считаю, любовь, не знающая искушений, - выше. А ты?

- Никогда над этим не задумывался, - ответил Поливанов. - Пожалуй, все-таки та, что преодолевает искушения, - сильнее.

- А вы, милая барышня?

Пожилой актер смотрел на Сашу снисходительно и добро. Поливанову стало жаль ее: застесняется, залепечет что-нибудь от смущения. Не каждый день приходится разговаривать с великими артистами. Но, подперев щеки ладонями, она задумчиво глядела на собеседника. И, помолчав немного, спокойно сказала:

- А по-моему, любовь, знающая искушения, - нелюбовь.

- Вот вы какая! - сказал актер.

"Вот ты какая!" - подумал тогда и Поливанов. А теперь он говорил себе: ну что она такого сказала? Громкая книжная фраза. Не более того. И вообще, какая все это малость по сравнению с тем, что окружает его сейчас. Небо. Море. Деревья. Тишина.

Он ходил долго, почти бездумно, а потом возвращался к костру, ужинал со всеми, смеялся, острил. Саши не стало в его жизни, и это было великое облегчение. Ушла, исчезла. Снова можно дышать, спать, думать. Все. Справился. Наплевал. Теперь можно и домой.

...Место ему досталось бесплацкартное. Плацкартного он не хотел ждать: хватит, ждал довольно, надо жить дальше.

Застучали колеса, и поезд помчался в Москву. И тут Поливанов вспомнил, что у него с собою нет водки. А зачем ему водка? Ему и без водки хорошо и бездумно. Но кто бы знал, как ему хотелось выпить! Его попутчик почему-то догадался об этом.

- Выпьем по маленькой? - предложил он ласково.

Водку они заедали солеными огурцами. Попутчик назвал себя:

- Милашкин, Леонид Милашкин.

У него были седеющие виски, красные веки и бледно-синий галстук. Он оказался компанейским человеком. Весь вагон исполнял под его управлением хоровые песни: он дирижировал, размахивая руками, и Поливанов распевал громче всех.

Когда все успокоилось и вагон уснул, он остался с глазу на глаз с Милашкиным. Они продолжали пить и уже говорили друг другу "ты". И пьяные признания срывались с губ Поливанова, молчать он почему-то больше не мог.

- Ну скажи мне, допрашивал он внимательно слушав его Леонида, ну что за бред такой... Это ведь даже объяснить нельзя. А почему? Зачем? Непонятно...

- Ну а собой миловидная?

- Да разве я не знал красивых? Да что - красивых! Красавиц! Да и не знаю я, какая она... Знаю, что нет сил,

Вот и все

- А ты плюнь! - советовал Поливанову Леонид. - Они такие всю душу вымотают. Плюнь - и точка.

Они пили, пили и закусывали огурцом. Скоро ли Москва? Не было сил дождаться Москвы. Он выходил на станциях, шагал по платформе, толкался по базарам, однажды чуть было не отстал от поезда. И вот Москва. И все осталось далеко позади: тихий остров, высокое небо, умные рассуждения о вселенной, и водка, и ночной собеседник, о котором он вспоминал со стыдом и отвращением. Вот наконец ее дом, ее дверь.

- Дмитрий Александрович, дорогой, наконец-то! Куда вы запропастились? воскликнула Нина Викторовна, открыв дверь. - А Сашеньки нет.

- Как нет? - спросил Поливанов одеревеневшими губами.

- Она в Калуге.

- В Калуге? Какой Калуге? Зачем?

- К свекру поехала. Проведать. Взяла Аню и поехала.

Ну как же, сколько не виделись. Взяла да и поехала. Заходите, пообедайте с нами.

Не ответив, даже не простясь, он спустился по этой знакомой лестнице. Куда идти? Что делать? Куда себя девать? Вот что: он поедет в Калугу. Ему не до самолюбия. Ему дышать нечем. Да, надо в Калугу.

Вечером он снова пошел в Серебряный переулок и от обиженной Нины Викторовны узнал, что Саша приедет завтра. Потому что завтра - день ее рожденья. А дни рожденья надо праздновать в семейном кругу.

Он был на вокзале за час до прихода поезда. Не стало больше мыслей о вечности, о жизни и смерти. Сейчас он увидит ее и пойдет вместе с ней, и будет нести на руках Аню, и, что бы ни было и что бы она ему ни сказала, он пробудет рядом с ней всю жизнь, ничего не требуя, ни на что не надеясь. И не страдая...

И вдруг он услышал радио. Поливанов рассеянно остановился у черной тарелки репродуктора.

- ...Германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города - Житомир, Киев, Севастополь...

Поливанов словно врос в перрон, раздавленный этим голосом. Рядом с ним стояли люди, пришедшие на вокзал встречать своих близких. Молодая женщина прижала к груди букет сирени и смотрела на репродуктор, беспомощно приоткрыв рот. "Что же это? - говорило ее лицо. - Как же это?"

- Ма-ам! - тянул мальчишка лет пяти. - Ну, Ма-ам!

Он дергал ее за платье, он становился на цыпочки, чтоб заглянуть ей в лицо, а она смотрела на черную тарелку репродуктора, и лицо ее спрашивало: "Что же это?"

- ...Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда... Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами...

Поливанов слушал, опустив голову и крепко сжав губы.

Все так же Саша вставала по утрам, на ходу пила чай и торопливо отводила Аню в детский сад, Аня все так же требовала по дороге:

- Мама, сказку!

Все так же бабушка заставляла Аню выпить в кровати стакан молока.

- Пей! - говорила она. - Пей скорее... А то придет

Гитлер и выпьет твое молоко. А ты, Саша, думай хорошенько - надо Анюту из Москвы увозить.

Бабья паника, отговорки! - думала Саша. Фашисты до Москвы не дойдут, с Аней ничего не случится. И у других матерей дети, однако они не сторожат их, идут на фронт. И она, Саша, пойдет. Это она решила твердо. Она медсестра, и ее место на фронте. Тогда, в финскую, у нее не вышло. Сейчас выйдет. Непременно. Глядя на военных с рюкзаком за плечами, глядя на ополченцев таких штатских даже в военной форме, она думала о том, что вот пришел и ее час. Она уже все решила: Нина Викторовна возьмет Анюту и уедет с нею куда-нибудь далеко - в Саратов или Казань. Или в Бугуруслан. Сейчас многие едут в Бугуруслан. А она, Саша, - на фронт. Ее место там.

Дворники все так же поливали горячий уличный асфальт. Все такие же аккуратно подстриженные лежали газоны у Большого театра. Все так же плыл по воздуху тополиный снег. И деревьям тоже, должно быть, казалось, что все по-прежнему, что ничего не изменилось.

\*\*\*

А изменилось все. Война была повсюду. Она слышалась в торопливых тяжелых шагах на лестнице. Это мобилизованный четыре дня назад Петька из 18й квартиры спускался по ступенькам в кирзовых сапогах. Большой театр был разрисован какими-то нелепыми домиками: его замаскировали, чтобы спасти от бомбежки. Война глядела окнами, заклеенными крест-накрест бумагой.

Леша давно уехал из Москвы, а Дмитрий Александрович уже надел военную форму - он должен был уехать со дня на день.

Он выглядел совсем иначе, чем прежде. Заграничная кепка, лихо сдвинутая на затылок, и рыжие сандалии, придававшие его шагу какую-то развязность, и замшевая куртка, делавшая его нарядным даже в самые горячие минуты съемок, все исчезло. Выступило все, что уже так хорошо знала Саша: твердость, спокойствие, доброта. Он помог ей заклеить окна, наладил маскировочные шторы, раздобыл фонарик с синей лампочкой. И в один прекрасный день он сказал ей:

- Ну, матушка, вот что: хватайте Аню и уезжайте-ка из Москвы. Я все это обмозгую и на днях вас выпровожу. А вы потихоньку собирайте вещички.

- Видно, мы здорово вам надоели. С нашими окнами, шторами и прочей ерундой.

- Не без того, конечно, - ответил Дмитрий Александрович.

Тускло светила синяя лампочка. Они стояли в подъезде. Саша дежурила, она была в домовой команде ПВХО, а Дмитрий Александрович просто был с ней.

- Граждане, воздушная тревога! - вдруг сказал, чуть придыхая, голос диктора.

Они не двинулись - так диктор говорил каждый вечер, это ничего не значило. Они уже привыкли к тревогам, которые не рождали в них никакой тревоги.

И вдруг:

- Граждане! Граждане! Немедленно спускаться в бомбоубежища! Граждане!

Диктор приказывал, требовал, его нельзя было слушаться.

- Саша, немедленно бегите за Аней и спускайтесь. Я подежурю за вас. Да идите же, слышите! Ну, что вы задумались? Слышите, что вам говорят?

Так Дмитрий Александрович еще никогда не говорил с Сашей. Сердито, строго и властно.

Саша быстро взбежала по лестнице. Почти все двери были уже настежь. Шли женщины с детьми, чемоданами, рюкзаками. Шли, спотыкаясь, окликали друг друга.

А голос требовал, приказывал:

- Немедленно! В бомбоубежище! Граждане!

Саша схватила спящую Аню и спустилась следом за всеми.

В бомбоубежище было тесно. Низкие потолки нависали над головой. Сидеть негде. Кто пристроился на чемодане, кто захватил скамеечку для ног и уселся на нее. Константин Артемьевич постелил для Нины Викторовны пиджак прямо на пол.

- Господи, - сказал старушечий голос, - люди-то ведь-с вещичками... А я... беспамятная, и шубу не захватила.

Раздался смех:

- Да куда тебе шубу? Июль на дворе!

- Не скажи, голубок. Выйдем, стоит ли Москва на месте? Может, все в щепы разнесено!

- Гражданка! - сорвавшимся от гнева голосом сказал Константин Артемьевич. - Не сейте панику! Говорю вам

Как юрист!

Бабушка, которая сеяла панику, неслышно зашамкала беззубым ртом:

- Ты что как грозно? Я вдова. А шуба хорошая. Ты, может, себе еще наживешь, а я...

- Боже мой, - простонала Нина Викторовна, - где-то сейчас Леша?

- Без паники! - прикрикнул Константин Артемьевич. - твой сын военный!

И только Аня без всякой паники шагала по бомбоубежищу.

В углу сидели два пожилых человека - муж и жена. А рядом собака большая, охотничья. Она сидела послушно, тихо и жалась к хозяину.

Аня подошла к ней, бесстрашно тронула большое ухо. Собака с добродушным презрением скосила глаз в ее сторону.

- В бомбоубежище - дети. А тут с собакой. Тоже люди - собака им дороже человека, - сказала какая-то тетка в платке.

Аня посмотрела на нее с укором.

- Тетя, зачем ты ругаешься? Она ведь не кусается.

- Деточка, отойди, - шепотом сказал хозяин собаки. Но Аня присела на уголок его чемодана.

- Тебя как зовут? - спросила она собаку.

- Карай, - ответил хозяин.

А у тебя дети есть? - спросила Аня собаку.

- Нет, - ответил хозяин.

- А ты меня любишь? - спросила Аня.

- Люблю. Я детей люблю, - ответил за свою собаку хозяин. Он привлек девочку к себе и посадил ее на колени.

Что там наверху? - думала Саша, Выйти бы. Поглядеть. Может, как всегда, ничего особенного. Вот и папа сказал: "Не сейте панику!" Что он там делает один в подъезде? В подъезде ли?

Шли минуты, потом часы. Аня уснула на руках у чужого. Рядом с ней дремала собака.

Как это странно - оказаться тут в подвале и не сметь выйти. Да почему же не сметь? Аня останется с бабушкой и дедушкой, а она, Саша, выйдет: она не станет больше сидеть здесь и ждать.

И вдруг пол дрогнул под ногами. И погас свет. Как бывает ночью, когда молния, вспыхнув, все озарит, так блеснула тьма. Это почуяли даже спящие. Бомбоубежище наполнилось отчаянным женским криком. Заплакали дети. Саша услышала Анин голос:

Мама! Мамочка!

Аня! - крикнула Саша и слепо, отчаянно стала шарить руками по чужим лицам, плечам, спинам.

Граждане! - сказал вдруг по радио ликующий голос. - Отбой! Опасность воздушного нападения миновала. Отбой!

В бомбоубежище вспыхнул свет. Толпа хлынула к выходу. Кто-то отдал Саше ноги, кто-то хлестнул по лицу рукавом пиджака, кто-то, пытаясь протиснуться к выходу, с силой толкнул ее, а остальные, шедшие следом, придавили к стене. Она стояла, уже не пытаясь шевельнуться, и только повторяла:

- Аня! Аня!

- Держите свою Аню! - говорит хозяин Карая. Да, вот она. Лицо залито слезами, руки протянуты. Вот

Она - у Сашиных губ ее щека, шея, соленые глаза. Крепко обхватив девочку, Саша стоит у стены. Если она сейчас увидит Поливанова, все будет хорошо.

Дмитрий Александрович ждал у порога бомбоубежища.

- Саша! Аня! - голос его срывался. Саша благодарно прижалась к его плечу.

- Ну, полно, полно! Слава Богу, все хорошо.

- Это я за вас, за вас... Я боялась...

- А я тут! - ответил он весело и снова добавил:

- Все хорошо, глупая вы девочка. Успокойтесь!

- Эй, бабка! Где ты? - кричал веселый молодой голос. - Москва ничего, стоит!

Москва стояла на месте. А их двор был усыпан стеклом парных разбитых окон. Каштан обугленный, почерневший, беспомощный - опустил изуродованные ветки.

В квартире были сорваны двери, выбиты оконные рамы, пол усыпан штукатуркой, осколками. На столе по-прежнему стоял чайник. В хлебнице рядом с хлебом лежало стекло. Колбаса и сыр были присыпаны стеклом. Стекло хрустело под ногами.

- Ну, - сказал Дмитрий Александрович, - завтра же, завтра вон из Москвы!

- Нет, я на фронт, а мама с Аней в эвакуацию.

Нина Викторовна сидела, беспомощно уронив на стол руки, из глаз ее катились слезы.

- Нет, - сказала она, - мы с папой останемся здесь. А тебе с ребенком надо уезжать.

Была бы ты родная, поехала бы, - подумала Саша. Впервые в жизни она подумала так. Подумала и устыдилась. И снова повторила себе: "была бы она родная..."

Дмитрий Александрович отнес спящую Аню и положил ее на кровать. Обернулся и посмотрел на Сашу. Взял ее руку, поднес к губам.

- Послушайте, - сказал он, и голос его дрогнул. - Послушайте. Я понимаю, вы хотите на фронт. Но как же Аня? Ей нельзя оставаться здесь... И мне ли вам это говорить? Не плачьте!.. Когда вы плачете, я не могу.

- Собирайте вещи, Саша! - это были первые слова, которые она услышала на другое утро. - Собирайте вещи! В два часа идет поезд на Ташкент, вы поедете с ним. В три отходит мой поезд, на Юго-Западный. Нет, нет, не отвечайте, не спорьте! Все! Где чемодан, Нина

Викторовна?

Саша хватает летнее Анино платье, тапочки.

- Валенки, - всхлипывая, говорит Нина Викторовна.

- До зимы далеко, к зиме мы вернемся...

- Давайте сюда валенки, Нина Викторовна, - говорит Поливанов.

Саша снимает со стены фотографию Андрея и кладет ее на дно чемодана... А вот дневники, их много, целых три тетради.

- Саша, ну что ты, бумага же тяжелая... - протестует Нина Викторовна.

- Это не бумага! - отвечает Саша.

- Ну ладно, ладно. Бери что хочешь. Только захвати, пожалуйста, Анины валенки.

Поливанов стоит у окна.

- Саша, - говорит он, не оборачиваясь. - Можно захватить еще рюкзак. Я сам уложу, я сделаю это лучше.

Нина Викторовна выходит из комнаты - надо найти рюкзак. Надо отыскать Анины валенки и вынуть из сундука засыпанное нафталином Сашино теплое пальто.

- Саша, - голос Поливанова звучит отчаянно, сдавленно. - Саша, неужели вы ничего не скажете мне на прощанье?

Она стоит, по-детски, беспомощно опустив руки, опустив голову, не смея поднять глаза. Она ищет слов, которые были бы щедры, горячи, ласковы и которые заменили бы то одно, одно единственное слово.

- Дмитрий Александрович, - говорит она. - Я очень, очень хорошо к вам отношусь. - Она посмотрела на спину Дмитрия Александровича и добавила:

- Мне будет плохо без вас.

Он молчал.

- Дмитрий Александрович... Я буду очень скучать. Ну, милый. Правда же...

Он повернулся. Лицо его было спокойно.

- Саша, где же рюкзак? - сказал он.

- Вот! - ответила Нина Викторовна, входя в комнату.

- Отлично! - сказал Поливанов. - Очень подходящий рюкзак

...На платформе стоит Поливанов. Из окна вагона смотрит Саша с Аней на руках. Поезд военного времени. Ребятишки на руках у матерей. Ребятишки двухлетние, пятилетние, они в каждом окне - вихрастые мальчики, девочки с бантами в волосах. Один стоит в испанской шапочке - такой круглолицый, румяный, и глаза вытаращены. Военный поезд. Вот он трогается. Отбывают дети. Они смотрят из окон на платформу. И все, кто стоял на платформе, бегут сейчас вслед за поездом. Светловолосая женщина, захлебываясь от рыданий, кричит:

- Вовочка! Сынок!
- Дмитрий Александрович! - кричит из окна Саша.
- Митя!
- Сашенька! - отвечает Поливанов на бегу.

Саша уже не слышит, а Поливанов все еще кричит:

- Сашенька!

Уже не видно поезда. Уже пропал из глаз последний вагон. А толпа на платформе все еще голосит. Это мамы и бабушки. Молча идут с вокзала военные - отцы и братья. Молча идет с вокзала Поливанов. Она сказала "Митя", - думает он. - Она сказала "Митя".

Через час отходит его поезд на фронт.

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Ярко-синее небо, белые дома и высокие, могучие деревья. Машины и рядом верблюды. Не в зоопарке, а тут же, в городе, на мостовой. Но чем ослепительней было ташкентское небо, чем белее дома под ярким солнцем, чем красивей большие цветы Азии и могучие тополя, тем горше ей было.

Когда-то, давным-давно, Саша сидела с Андреем в кино, и с экрана вдруг ошетилилась колючая проволока, побежали на проволоку люди, взлетела земля. Тогда впервые сердце сжалось страшным предчувствием, и слово "война" впервые наполнилось смыслом. До того это было книжное слово, слово из учебника: война гражданская, война империалистическая и когда-то, в незапамятные времена, - Отечественная двенадцатого года: капитан Тушин, Андрей Болконский и высокое небо Аустерлица...

Иногда отец говорил: "Помню, в войну четырнадцатого года..."

Но это звучало так же, как то, что на свете жил царь, а на перекрестках стояли городские. И вдруг война грянула с экрана каской, винтовкой, колючей проволокой. Потом она ворвалась в Сашину жизнь гибелью Андрея, Аниным сиротством, потом вошла в ее мир бомбоубежищем, воем сирены, разбитыми стеклами ее дома.

В сводках ничего не говорилось о московских бомбежках, но она-то знала, что к вечеру начинает вопить сирена. И снова она видела темное бомбоубежище и двор, усыпанный стеклом, и сорванную с петель дверь. А теперь - есть ли дом, стоит ли он? Ей все время виделось смуглое лицо отца с дрожащими губами и заплаканное лицо Нины Викторовны.

Впервые она испытала странное чувство не только любви, но и жалости. Она привыкла, что они заботятся о ней, она же о них позаботиться не успела. Чего бы она ни отдала теперь, чтобы обнять отца, погладить его щеку. А Лешка? Где он сейчас? В каком пекле? А она - зачем она здесь?

По утрам, когда Саша шла на работу и видела людей, толпящихся у громкоговорителя, она хоть на секунду останавливалась послушать последнюю сводку: сражения на дальних подступах к Москве... Бои по всему фронту... Ожесточенные бои на Вяземском направлении...

Возвращаясь домой, она почти бежала, потому что всегда задерживалась в больнице, но как не остановиться, как не узнать, что было сегодня там, за тысячи километров от этого зеленого, яркого города?



...Здесь она жила на окраине. Маленькая улица называлась странно: Чеховский тупик! И придет же людям в голову такое! Комната была обыкновенная, с невысоким потолком, с геранью на подоконнике, с занавеской и комодом, на комодe - коробка, оклеенная ракушками, и семь слонов. Хозяйка, введя Сашу с Аней в дом, покосилась на Аню и собрала слонов в карман большого фартука. Подумала еще минуту и взяла ракушечную коробку.

- Нижним ящиком можете пользоваться. Я оттуда Зоечкины вещи убрала. А верхние на запоре, уж не взыщите... Отчего ж не остались в Москве? Поджилки затряслись, а?

Саша похолодела и ответила:

- Это вы правильно заметили: именно поджилки. Хозяйка озабоченно пожевала губами и ушла, унося слонов и коробку.

Вечером и рано утром из соседней комнаты раздавались гаммы. Это играла хозяйская дочка Зоя. Она играла гаммы, Ганнона, арию Каварадосси, арию герцога из "Риголетто". На гаммах она сбивалась и начинала снова, снова и снова. На ариях сильно фальшивила, но не сдавалась.

- Моя Зоечка очень настойчивая, она своего добьется! - с гордостью говорила хозяйка.

Трижды в неделю к Зое приходила учительница музыки - немолодая ленинградка в стоптанных башмаках и строгом черном платье. За уроки хозяйка платила ей продуктами - молоком, хлебом, кислой капустой. Учительница музыки эвакуировалась в Ташкент с четверьмя внуками. Двое ее сыновей ушли в ополчение, третий - врач - был мобилизован в первые дни войны. Невестки остались в Ленинграде, чтоб быть поближе к мужьям, а бабушка уехала в Ташкент и увезла внуков. Двоих младших - близнецов - она приводила с собой. Им было по шесть лет, они были одеты неумело, небрежно, то и дело орали: "Бабушка!" - это очень сердило хозяйку.

- Про детей вроде бы не договаривались! - ворчала она.

Учительницу звали Валентина Сергеевна. Глаза у нее были вечно испуганные. Пуще всего она боялась рассердить хозяйку. Однажды она отворила дверь в Сашину комнату и сказала Саше:

- Девочка, пожалуйста, поиграйте с этими мальчиками.

- Мама, давай поиграем с мальчиками! - с готовностью сказала Аня.

- Прошу меня извинить... Я думала... - смущенно забормотала Валентина Сергеевна.

- Ничего, я привыкла! - ответила Саша. - Садитесь, мальчики.

- Мама, - сказала шепотом Аня, - давай угостим их.

- Сейчас, - ответила Саша.

За окном темнело. За стеной слышались гаммы.

- Это будет поезд, - говорила Аня, - ты будешь машинист, а ты кондуктор, а я женщина с двумя детьми. Я пройду с передней площадки.

Мальчики - Сережа и Юра - соглашались на все: они гудели, свистели, раздавали билеты, уступали место женщине с двумя детьми и умолкли, только увидев на столе тарелку с макаронами и хлеб. В комнате стало очень тихо.

- Ну, давайте ужинать! - сказала Саша.

- Я не хочу, - сказал Сережа.

- Я совсем не хочу, - откликнулся Юра.

Они ели молча, благоговейно. Саша подошла к окну и стала смотреть во двор.

- А нам вчера перерезали свет! - сказал Юра. - Бабушка пользовалась плиткой.

- Пришли с кусачками! - сказал Сережа. - Бабушка плакала. Плакала, заливалась.

- А мы тоже пользуемся, только тихо. Нас еще ни разу не поймали! сказала Аня.

- А у нас на дворе есть мальчик Толя! - сказал Сережа.

- А его папу уже убили! - сказал Юра.

И опять тихо. Дети молча доедали макароны. И вдруг за стеной, как бы едва касаясь клавишей, заиграли "Осеннюю песню" Чайковского. Это играла бабушка.

"Помни меня! Не забывай! Я люблю тебя! Слышишь ли ты?"

"Да! - отвечала Саша. - Помню. Люблю". Она глядела в окно, боясь шелохнуться. Простая, давно знакомая мелодия, завтра ее будет играть Зоя, путая и перевирая, но сейчас она звучала чисто, печально, пронзительно.

- Все! Уже! - сказал Сережа, отодвигая тарелку.

- Я тоже уже! - сказал Юра.

В их словах слышались сожаление и сладость воспоминания.

- Погодите, - ответила Саша. - Я сейчас. Погодите

Минутку.

Ах, если бы еще, еще немного...

И, словно услышав ее, бабушка опять заиграла.

Как хорошо! благодарно подумала Саша. Вот завтра пойду и постираю тебе и пришью твоим внукам пуговицы, у меня есть черные нитки, а ты пришила Сереже пуговицу белыми.

Подошла к шкафу, молча отрезала три ломтика хлеба и положила перед детьми. - А мы не хотим! - сказали мальчики.

- Тише, - ответила Саша.

И снова стало тихо. Серьезно и молча дети принялись за хлеб. Музыка оборвалась. Через минуту за стеной снова раздались гаммы.

- Мама, расскажи сказку! - попросила Аня. Саша подумала и сказала:

- Жила-была девочка. Она была маленькая. Когда девочка родилась, ей подарили красные башмачки. Башмачки были красные, они были хорошие и красивые.

- На кожаной подметке? - спросил Сережа.

- На кожаной, - согласилась Саша.

- А разве грудные носят кожаные? - спросила Аня.

- Не носят. Башмачки были новые, красивые, с красными шнурками. И вот девочка подросла и сказала своей маме: "А где же мои красные башмачки?.."

В ташкентский трамвай не попасть. Он, как говорится, не резиновый, а в город приехало столько народу из Москвы, Ленинграда, с Украины, из Белоруссии. Поэтому Саша вставала очень рано, чтоб успеть дойти до больницы пешком. Она встала рано и в это утро. И вдруг, забыв, что надо спешить, забыв обо всех тревогах, остановилась посреди двора и стала глядеть на хозяйское топливо. И как же раньше она не замечала, что топливо, которое называется саксаул и лежит среди двора и греется на октябрьском солнце, не только топливо... Это - древесные корни. Они причудливы и похожи на громадные запятые, на свернувшихся в клубок серых змей, на обнимающие кого-то руки. Каждый день люди проходят мимо и ничего не замечают. Да и она только сейчас заметила.

Запятые... Руки, протянутые вперед. Руки, обнимающие кого-то. Перед тем как ей войти в вагон, там в Москве, на Казанском вокзале, Дмитрий Александрович обнял ее и поцеловал. И велел писать. И сказал: "Я скоро напишу вам, Саша". И поэтому всякий раз, простояв в длинной очереди к окошку "До востребования" и получив письма от отца, от Леши, Саша спрашивала:

- Все?

- Все, - отвечали ей.

Что с ним? Где он? Ведь если они друзья - а он говорил, что друзья, почему он не пишет? Ну, хоть бы несколько слов - я, мол, там-то и там, жив и здоров. И она бы ответила... А впрочем, война, до писем ли. Ну, а если ранен? Ну, например, в правую руку. Но тогда можно продиктовать сестре, во всех госпиталях есть медицинские сестры. Как он славно говорил - "сестра милосердия". Зачем она об этом думает? Ведь война. А она - его друг обижается, ждет каких-то там писем. Да и не ждет она совсем...

- Все? - непременно спрашивала Саша у девушки за окошком.

Одна сухо отвечала: "Все", другая молча и грустно кивала головой.

Саша шла в больницу. Молчаливый город постепенно оживал. Грохотали трамваи, на подножках гроздьями висели люди, и даже со стороны было видно, как в трамвае полно, жарко и душно, как все кричат и торопятся. Только что на крыше никто не сидит. А навстречу несущемуся трамваю величаво шествовал неторопливый верблюд. Меж двух верблюжьих горбов сидел один-единственный всадник и тоже никуда не спешил: он свысока глядел на мостовые, на прохожих, а верблюд все шел, не шел - шествовал.

Вот идет женщина в шелковом широком платье, рядом малыш в ярко расшитой тюбетейке. А на другой стороне тротуара - москвичка в пестром платье, в руках красивая белая сумочка, туфли тоже белые. И кушачок.

- Эх, ты, разоделась! - думала Саша и ускоряла шаг. - Такое время, а ты подбираешь сумочки в цвет!" Но и на лице москвички - выражение заботы, печали. Саша все ускоряла шаг, и все выше вставало солнце, и жаром обдало мостовые, и крыши, и Сашину голову в светлой косынке. "Не хочу. Не хочу оставаться здесь. Не здесь мое место..."

Вот и больница. С этой минуты все отступает. Переполненная детьми палата. Кровати стоят впритык друг к другу. Окна завешены марлей. И все-таки над головами детей пьются мухи.

Саша знает тут каждого мальчика, каждую девочку, помнит выражение каждого детского лица. Иному покажется, что все здесь на одно лицо: некрасивые, наголо стриженные, с опухшими ртами. Но Саша знает, это не так. Вот у того, что все время подвывает: "Ма-ама, Ма-ама...", уголки губ опущены, а на щеке, когда он ест, появляется ямочка. У Коли Грибова большой выпуклый лоб, крутой, как репка. У Тани Мельниковой - ей всего два года личико маленькое, точно у куклы, и нос вздернутый. Она никак не может понять, куда девались мама, папа, бабушка, за что ее тут оставили.

Вот про этих двух - у одного больные почки, у другого воспаление среднего уха - никто ничего не знает, а сами они еще ничего не могут о себе рассказать. А этому мальчику лет четырех палатная нянечка сказала однажды: "Давай умоемся, Димочка!" А он ответил: "Я уже слезами умылся!"

В палате только один большой мальчик - Павлик Клювин, ему семь лет. В нем течет Сашина кровь. Он умирал, когда его привезли в больницу. И ему сделали переливание крови. Павлика кормили осторожно, понемногу, он был так плох, что пища могла его убить. Переливать кровь трудно, иглы тупые. А переливать надо много: детской больнице нужно такое же количество крови, как и военному госпиталю. Там умирают от ран, здесь - от болезней, от того, что все силы кончились, иссякли...

Теперь Павлик пошел на поправку и помогает Саше. Павлик похож на Маленького Мука, у него огромные, не по ноге, тапочки. Они хлопают по больничному полу, когда он ходит вслед за Сашей. Халат у него длинный и перепоясан веревкой. Рукава Саша ему подвернула, но они необъятно широки, и худые Пашины руки прячутся в них. Но руки эти ловкие. Как осторожно они поят с ложечки годовалого Колю Панфилова, как крепко и бережно держат ножки Тани Мельниковой, когда она плачет и брыкается, не желая принимать лекарство. Пытаясь развлечь ребят, Павлик стал однажды на табуретку и начал читать стихи, но тут его постигла неудача - никто не слушал, каждый был занят своим - плакали, смеялись, ныли: "Попи-ить!"

- Ничего, Павлик, - говорила Саша, - не отчаивайся. Тебя оценят, дай им только выздороветь.

Те, что шли на поправку, просили:

- Расскажи сказку!

И, ставя градусники, делая уколы, вливая глюкозу, Саша рассказывала про красные башмачки, про Человека Рассеянного, про храброго Ваню Васильчикова.

Ей случалось сказать:

- Жили-были мальчик Маша и девочка Ваня! Что ты смеешься Тоня? Я не так сказала?

- А что было дальше? - спрашивали дети.

- И вот пошли они в лес...

- Тетя, пить! - требовала веснушчатая девочка по имени Муза.

- А что было дальше? - кричали из другого угла палаты

- И вот пошли они в лес, - говорила Саша, давая попить Музе, - и видят: идет волк!

- Тетя, повязка сползла! - говорил Толя Полоскин.

- А волк что? - спрашивал Павлик, хотя ему было уже семь лет.

- Волк? - рассеянно спрашивала Саша, бинтуя Толину шею. - Волк сказал: "Подарите мне, дети, красные башмачки!"

- Что? - с любопытством кричали все. Давайте немножко помолчим! отвечала Саша, запутавшись. Давайте поиграем в молчанку - кто будет дольше молчать!

Но эта игра никогда не удавалась. Они плакали, болтали,

Смеялись, просили пить, жаловались на боль в ухе, в горле, требовали маму, бабушку. Просили: "Сядь ко мне!"

И Саша садилась, поила, старалась утешить и обещала, что мама скоро придет.

Обратная дорога, дорога домой, была полна Аней. Сыта ли? Не ушиблась ли? Не ушла ли куда? Спала ли днем? Не обидел ли кто? И чем ближе к дому, тем быстрее шла Саша, забыв об усталости.

И каждый раз, увидев Аню, грязную, неумытую, с оторвавшейся подметкой или в разорванном платье, но живую, здоровую, веселую, Саша чувствовала себя счастливой.

- Мама! - кричала Аня.

- Анюта! - отвечала Саша и, обняв дочку, крепко прижимала ее к себе.

А потом начались дожди. В тупике стояли большие лужи. И стоило Саше сходить за водой к водопроводной колонке, как ноги промокали насквозь. Об электрической плитке Саша только вспоминала - уже давно приходил человек с кусачками и сказал, что в следующий раз оштрафует беспощадно. И выключит свет. Саша не стала плакать, как ленинградская бабушка, она просто научилась разводить мангал. Она боролась с мангалом - упорно, не сдаваясь. Он должен был разгореться, но ему не хотелось гореть пасмурным утром да еще под дождем. "И как это в книгах описывают пожары, - думала Саша, - кто-то там обронил спичку, занялся лес или сарай. Везет же людям!" А она извела полкоробки спичек, драгоценных спичек, а мангал дымит - и все. Саша дула в мангал, подкладывала обрывки газетной бумаги, чертыхалась сквозь зубы, но когда ее совсем покидала надежда, оказывалось, что внизу, подспудно, начинали тлеть угли, мангал разгорался.

Аня совсем одичала. Осмелев, она давно уже перешагнула порог комнаты, пределы двора и, поняв, что в тупике гораздо веселее, решила обследовать соседние улицы.

Однажды, вернувшись с работы, Саша не нашла дочку ни дома, ни во дворе. Она металась по двору, звала Аню, искала в сарае с саксаулом.

- Аня, пошутила - и будет! - повторяла она.

Но Аня не откликнулась. Тогда Саша кинулась на кухню к хозяйке.

- Ольга Ивановна, ну неужели вы не видели?..

- Я вашему ребенку в няньки не нанималась. Скажите спасибо, что с квартиры не гоню, из-за вас чуть электричество не выключили.

Но Саша уже не слушала и снова выбежала на улицу. Начался дождь. Ничего не видя, без платка, она бежала по улице и звала: "Аня-а!"

- Мать, твой ребенок? - тихо спросил ее старческий голос. Перед Сашей стоял старый узбек и держал за руку Аню.

Саша совсем близко увидела два темных глаза, окруженные морщинами. Старик ласково улыбался, и тут-то Саша заплакала.

- Дочь, зачем плачешь? Ребенку скучно будет! А девочка хороший, в гости ходил, плов ел, "Яблочко" танцевал. Хорошо танцует. И завтра обещал прийти. Ты в больнице работаешь? Девочка все рассказал. А у нас сын на фронте. Мухамеджанов фамилия. Гафур. Запомнишь? Муламеджанов Гафур.

- Запомнила. Спасибо, запомню - Мухамеджанов, - отвечала Саша, держа за руку Аню.

Да, у Ани давно была своя жизнь. Она водилась с внучками Мухамеджанова, а младшую, четырехлетнюю Тамару Мухамеджанову, частенько приглашала к себе, чем вызвала глубокое неудовольствие хозяйки.

- Сдали вам комнату, ну и живите. А такого уговора не было, чтобы водить кого ни попало.

Аня показала ей язык.

- Интеллигентные! - кричала хозяйка. - Ей пять лет, а она уже язык показывает! Москвичи называется!..

Аня завела себе еще одну моду - вместе с Сережей и Юрой следом за бабушкой ходить на уроки музыки в самые дальние концы города. Идти с мальчиками было веселее, чем одной сидеть дома. Мальчики - нестриженные, в грязных матросках и штанишках, из которых выросли за лето, - стали совсем уже похожи на Робинзонов. Казалось, бабушке Валентине Сергеевне было все равно, сколько детей водить за собой - двоих или троих. Она все сносила кротко и, более того, считала, что общество девочки полезно мальчикам. Когда стояли теплые дни, они жили во дворе. С дождями перебрались в сарай и, пока бабушка учила своих учеников играть гаммы, громко и разноголосно пели. Чего они только не пели!

Внимание, внимание. На нас идет Германия,

Орал Сережа, и Юра с Аней подхватывали:

С пушками, гранатами. Ручными поросятами!

Но это было не самое худшее. Открыв дверь и не зная, найдет ли она Аню дома, Саша застала однажды не только ее, не только мальчиков. Они сидели на корточках на полу вокруг большеголового щенка. Щенок скулил. Шерсть на нем свалялась.

- Он будет ничего, большой. Это он теперь такой маленький, а он будет большой, - объясняла Аня, - и пусть его зовут Карай. Есть такая собака в Москве.

- А у нас в Ленинграде есть собака доберман-пинчер. Фамилия Доберман, а зовут Пинчер, - сказал Юра.

- А я его буду кормить! - говорила Аня, не слушая. - Он будет со мною спать. Мы его помоем, причешем, он будет тогда ничего.

Аня, - строго сказала Саша, - где ты взяла эту собаку? Отнеси сейчас же!

В комнате стало тихо. Потом Аня сказала, захлебываясь и удивленно глядя на мать:

- Что ты! Я его под дождем нашла. Он голодный.

- Сейчас же унеси собаку! - сказала Саша.

- Хорошо! - сказала Аня. - Отнесу и сама останусь на улице. - Она схватила щенка и

бесстрашно пошла к двери.

За ней, не простившись с Сашей, пошли Сережа и Юра.

- И сейчас же вернись! - сказала Саша.

- Не вернусь ни за что! - ответила Аня.

Дети ушли, а Саша стала подтирать пол в том месте, где сидел щенок. Прошло пять минут, десять. Дети не возвращались.

- Аня! - крикнула Саша в окно.

Ей не ответили. Усталая и голодная, накинув платок, Саша выбежала на улицу - и вот они все трое, под дождем. И на руках у Ани щенок.

Сейчас же, сейчас же домой! - Саша схватила Аню за руку и поволокла ее, ревущую, в дом; под мышкой у Ани скулил щенок. Юра и Сережа угрюмо замыкали шествие. На пороге их поджидала хозяйка.

- Да вы что, очумели? И от вас заразы хватает, еще и собаку туда же! А ну, давайте его отсюда!

- Посторонитесь, пожалуйста! - ледяным голосом сказала Саша. - Дайте пройти!

- Куда пройти? Это куда пройти? Ко мне, что ли, в дом? С собакой? С уличной собакой?

- Она не уличная, она наша! - сказала Аня, всхлипывая.

- Это наш щенок, - сказала Саша, - и мы идем к себе в комнату.

- Это их щенок! - хором сказали Сережа и Юра.

- Что-о? - голос изменил хозяйке, она перешла на шепот.

Но Саша закрыла за собой дверь.

- Давай назовем его Дружком, - сказала она. - Карай - это большой пес. А наш вон какой маленький.

Так в их доме поселился еще один жилец. И едок.

Еды давно уже не хватало. По воскресеньям Саша ходила на Алайский базар и что-нибудь продавала. Платье. Кофточку. Наволочку. Рынок! Даже не верилось, что такое еще бывает на свете. Масло - и не пятьдесят граммов, не сто - большущие желтые куски свежего масла. Сметана - не в чашечке, а в ведрах. Фрукты - не одинокое яблоко, а гора румяного, блестящего ранета. Дыни, виноград, груши. Саша проходила мимо не глядя. Она меняла хлеб или пачку чая (они давно уже пили кипяток без заварки) на яйцо, на чашку риса.

На рынке у нее появились связи - все одна и та же рыжая спекулянтка. Завидев Сашу, она кидалась на нее, как тигр, выхватывала из рук кофточку и кричала:

- Двадцать пять рублей - красная цена!

- Мне бы тридцать... - нерешительно говорила Саша.

- Вот двадцать пять, и скажите спасибо, - отрезала спекулянтка.

А что можно было купить на двадцать пять рублей? Ничего. По карточкам изредка удавалось получить рису и макарон. И все, что варила Саша - нынче кашу, завтра макароны, послезавтра мучной суп, - Анюта делила с Дружком. Когда рис и макароны кончались, Саша варила щи из кислых помидоров. Дружок хлебал и щи. "Нет, - в отчаянии думала Саша, - пока девчонка к нему не очень привыкла, надо его куда-нибудь отдать. Нельзя, чтоб Аня из-за него совсем не ела. Но куда его денешь? Не выкидывать же на улицу - пропадет".

Неподалеку от Алайского базара стоял одноэтажный белый дом с большими окнами. Летом забор вокруг дома был увит зеленью, за оградой виднелись красивые белые шары - это были цветы - бульденежи.

В этом доме жил Евлампиев, местный врач гомеопат. Говорили, будто он умеет вылечить любую болезнь. И люди шли к нему.

- О, - сказала Саше медсестра Шарафат, - у него каждый день по десять человек. И каждый приносит пятьдесят рублей. Сосчитала?

Да, Саша умела считать. Но богатый дом - не значит добрый дом. И не всякий человек любит собак. "Конечно, - думала она, - можно оставить его на крыльце. Кто-нибудь выйдет, наткнется на него и приютит. А если нет? А если возьмет да и отшвырнет ногой? Да и как его оставишь? Он тотчас побежит следом".

Однажды Саша увидела мальчика лет двенадцати, который вышел из калитки евлампиевского дома. Накрапывал дождь, но мальчика это не тревожило. Он был ухоженный, румяный и крепкий, в добротном пальто, в блестящих новых калошах.

Да, - подумала Саша, - ты кормленный мальчик. И, наверно, ты не знаешь, что такое щи из кислых помидоров. Но ты румяный и веселый. Может, ты и добрый?

Она шла с базара и несла в кошелке полстакана меду. И поэтому думала обо всех хорошо.

- Послушай, - сказала она мальчику, - хочешь щенка?

Он остановился и взглянул на нее внимательно. Он стоял, глубоко засунув руки в карманы серого толстого пальто, и смотрел Саше прямо в глаза черными пристальными глазами.

- Порода? - спросил он коротко.

- Порода? Я думаю, доберман-пинчер. - Саша кривила душой. Она этого не думала.

- Цена? - спросил сын доктора Евлампиева.

- Ну, какая цена? - удивилась Саша. - Возьми так. И поняла, что совершила промах, - мальчик тотчас потерял интерес к разговору. Ничего не ответив, он пошел дальше.

- Видишь ли, - сказала Саша, идя рядом и решив действовать напрямик, скажу тебе правду: нам просто нечем его кормить. А то бы я нипочем его не отдала.

Он опять остановился, и снова из-под бровей блеснул его пристальный взгляд. Пожевал губами, потом вытянул их в трубочку, потом сказал:

- Ладно. Постучите в дверь и скажите, чтоб позвали Жору. Жора - это я. Пойдите, - крикнул он Саше вдогонку, - а он что-нибудь умеет делать?

- Он подает лапу.

- И все?



- Все.

- Ладно, приносите.

На другой день она подошла к белому дому и постучала. Дружок сидел у нес па руках и оглядывался по сторонам. Говорят, собаки чувят, когда им грозит опасность. Дружок ничего не чуял, он был спокоен, а, если и чуял, может, просто не жалел о разлуке.

- Вы думаете, он действительно пинчер? - спросил Жора, глядя на Дружка, который стоял на крыльце у Сашиных ног и весело помахивал хвостом.

- Не знаю, - сквозь зубы ответила Саша. - Не хочешь - не бери.

- Бери! - сказал Жора и, подхватив Дружка, захлопнул за собой дверь.

Саша шла домой, не позволяя себе думать. Она знала, что поступила правильно, и не желала больше терзаться.

- Перестань плакать, - говорила она Ане, - ему у нас было плохо, а там будет хорошо.

- Не правда, - рыдала Аня, - ему было хорошо у нас. Я знаю. Мы его любили... А тот мальчишка... Он не будет... не будет... любить...

Ну что я маюсь, - думала Саша, лежа ночью в постели, - ведь там ему будет хорошо. Он будет сыт.

Рядом лежала уснувшая в слезах Аня. Она судорожно всхлипывала во сне.

В шестом часу Саша встала и вышла с ведрами к колонке. Неподалеку от забора сидел Дружок. При виде Саши он поднялся, завилял хвостом и как ни в чем не бывало пошел ей навстречу.

- О, чтоб тебя! - сказала она, беря его на руки. - О, чтоб тебя!

Он лизал ей щеки, губы, глаза своим горячим языком и тыкался в шею холодным носом.

- Я не намерен! - кричал доктор Юсупов, выходя из кабинета главного врача. - Я не намерен больше оставаться здесь. Я хирург, наконец! Мое место там!

"Мое место там, - повторяла про себя и Саша. - Я не Юсупов, меня легко заменить, меня отпустят. Аня... Как же мне быть? Аня... Но ведь все равно она целыми днями одна. Я вижу ее рано утром спящую. И вечером. Целый день одна! Голодная, холодная. Ей в детском доме будет гораздо лучше, чем со мной. Сытней, теплей. Но как же отдать ее чужим? Дружка - и того не было сил отдать. Но ведь не Жоре Евлампиеву я Аню отдам? Я отдам ее в детский дом, к детям".

В одном детском доме, на Паркентской, заведующая сказала ей отрывисто:

- Не выдумывайте. Слышать не хочу!

"Почему?" - хотела спросить Саша, встретилась с ней глазами и не спросила. Глаза у женщины были злые, горячие, губы бледные.

- Выбрось это из головы, слышишь? - сказала она, вдруг переходя на "ты". - У меня вот тоже... такая... Сразу после десятого класса. В первом же бою убили, понимаешь? В первом же бою...

А в другом... в другом доме ее спокойно слушала высокая исхудалая старуха. Коричневое

платье ее было ушито крупными стежками и все равно болталось, как на вешалке. Прежде она, должно быть, была толстая, большая, об этом говорили крупные руки и крупные морщины на руках. Сейчас она высохла, щеки у нее втянулись, и сухая кожа на руках просвечивала.

- Ну что ж... Если все оформите... Если РОНО не будет возражать... Если принесете справку из военкомата...

Они сидели в кабинете заведующей - маленькой, чистой и чинной комнатке. За соседним облупленным столиком что-то быстро писала девочка-подросток... Услышав про военкомат, она подняла глаза и посмотрела на Сашу.

- Пойдите! - услышала Саша, выйдя в коридор. - Это вы очень правильно решили... на фронт! - сказала

Девочка, догнав ее. - Это очень хорошо! А за дочку не беспокойтесь, она будет моя. У всех больших воспитанников есть свой маленький. Я возьму вашу дочку. Я буду так заботиться, ну, вы даже не представляете. Приведите ее к нам, вы сами увидите... Я буду писать вам на фронт через день! Нет, каждый день, вот увидите! Вы откуда - из Москвы? А я из Ленинграда. Я жила на Загородном проспекте. Вы приведете свою дочку? Меня зовут Кира, у нас в доме только одна Кира, Галь у нас четыре, Оль - шесть, а Кира одна.

Спасибо! Сказала Саша. - Большое тебе спасибо! И на другой день пришла с Аней.

Кира бережно взяла Аню за руку и осторожно, даже как-то торжественно ступая, повела к детям. Аня обернулась, Саша помахала ей, и дверь за девочками закрылась.

Вечером, придя за Аней, Саша сразу попала в какую-то веселую суету: ребята играли в жмурки, Аня бегала вместе со всеми и громко кричала:

- А ну поймай, поймай!

Ей весело, - подумала Саша. - Ну, слава Богу! И вдруг Аня ее увидела. Она не сказала: "Мама!" Она не кинулась к ней. Она крикнула:

- Где мое пальто?! Где мое пальто? - лихорадочно повторяла она. - Мама, скорее! - Дрожащими руками ни на кого не глядя, она застегивала пуговицы своего короткого пальтишка.

- Анюта, да что с тобой, скажи ребятам "до свиданья"!

- До свиданья! - сказала Анюта, не поднимая глаз. Дети молча столпились вокруг. Кира наклонилась к Ане

И поцеловала ее.

- Ты придешь к нам еще? - спросила она. Аня потянула мать к дверям.

- Тебе не понравилось у детей? - спросила Саша на улице.

- Понравилось. Нам давали суп рисовый, кашу рисовую и кисель. Сладкий.

- А Кира тебе понравилась?

- Понравилась. Она пела мне песни, и читала книжки, и дала мне ягоду вот! - Аня разжала кулак: на ладони лежал сморщенный липкий урюк.

- Весело тебе было?

- С тобой веселее. - Аня крепко сжала Сашину руку.

- Хочешь, завтра опять придем сюда?

- Я хочу с тобой.

- Но ведь с детьми веселее, правда?

- Мне с тобой веселее.

- Но ведь меня целый день нету дома!

- А вечером ты приходишь.

- А кисель? - тихо спросила Саша. Аня ничего не ответила.

...Ночью Аня проснулась с плачем.

- Что с тобой? Ты испугалась? - спрашивала Саша, утирая мокрые Анины щеки. - Ну расскажи, что тебе снилось?

- Мне снилось... что ты меня отдала... Я не хочу... Я не хочу киселя.

Никуда я ее не отдам, - с отчаянием подумала Саша, - не смогу... Эх, я...

Скоро Саша променяла или продала на рынке все, что можно было. У них осталось одно полотенце, две простыни и две наволочки и то платье, которое было на Саше. По ночам Саша записывала в тетрадь, которую привезла из дому:

"Ночью Аня проснулась и спросила:

- Мама, а правда, я в Москве брала сахара, сколько хотела? И белого хлеба тоже?

Вчера хозяйка жарила пирожки. Аня долго молчала. А потом вдруг сказала, задумчиво так:

- Что она там делает?

- Пирожки жарит.

Аня еще помолчала. И потом:

- А наша бабушка тоже умеет пирожки? Я ей ответила:

- Наша бабушка все умеет.

- Мама, расскажи про пирожки.

Мне сильно не хотелось рассказывать про пирожки, и Аня принялась рассказывать сама:

- Жила-была девочка. У нее была бабушка. Она испекла пирожок. Большой-пребольшой. Он был с капустой. А сверху его посыпали сахаром. Девочка ела, ела. Дала своей маме. И Юре. И Сереже. И Дружку. Девочка была добрая. Не жадная. Она и правда не жадная. Она ничего не хочет есть без меня и без Дружка.

В Москве осадное положение, а я здесь, Калуга у немцев. Моя Калуга. Бои о районе Наро-Фоминска. А я здесь. Доктор Шевелева отдала своего сына в детский дом, а сама ушла на фронт. Я смотрю на Аню и понимаю: никуда я отдать ее не смогу. С мамой бы оставила, а с чужими - не могу. Но до чего же мне надо быть там, далеко отсюда...

Башмаки Ане стали совсем малы: пальцы упираются в носок. Что делать ума не приложу. Скоро зима. И кто это выдумал, что в Ташкенте тепло?"

И правда, кто это выдумал, будто в Ташкенте тепло? Дни стояли холодные, промозглые, и в комнате тоже было холодно. Часто, возвращаясь домой, Саша заставляла Аню

Под одеялом вместе с Дружком. Они грели друг друга. Сердце у Саши сжималось. Она смотрела на похудевшее лицо девочки и думала: "Нет ничего хуже, когда не можешь накормить ребенка вволю". Но вскоре стало хуже, гораздо хуже.

- Анюта! - сказала Саша, вернувшись с работы. - А ну, вставай! Я принесла компот!

- Не хочу, - ответила Аня. - Анюта, что ты! Компот!

- Не хочется, - повторила Аня.

Саша наклонилась над кроватью и прикоснулась к дочкиному лбу. Лоб был горячий. Она провела рукой по горячей щеке, по сухим губам.

- Болит горло, Анечка? Глотни. Болит?

- Болит.

Скарлатина, - холодея, подумала Саша. Скарлатина. Какая же я медсестра после этого? Ребенок рядом, а я и не заметила. Ведь она и вчера была такая тихая. Как же я не догадалась?

Саша посадила дочку к себе на колени. И Анина голова беспомощно свесилась. Саша сидела молча и тихо покачивалась. Равнодушная, вялая, Аня прислонилась к ее плечу.

Так просидела она всю ночь, объятая страхом и одиночеством, крепко прижав к себе девочку. Она ни о чем не думала, ни о чем не вспоминала, никого не звала на помощь. Она только прижимала Аню к себе все крепче, словно могла этим оберечь, защитить, отнять у болезни.

Это была скарлатина. Скарлатинозный барак стоял на том же дворе, что и Сашин, только в сторонке. Никогда Саша не чувствовала себя такой далекой от дочки, даже когда Аня была на другом конце города. Сейчас она была рядом, но за тридевять земель. Иногда Саша выбегала во двор и смотрела в окошко Аниной палаты. Она стояла в толпе других матерей, но те были счастливее, их дети подходили к окнам, махали руками. Увидев Сашу, матери обступали ее.

- Сестричка, как там мой - Луков фамилие? Сестричка, уж вы поглядите, чтоб до времени на пол не соскакивал - осложнение будет.

Глубоко вздохнув, Саша возвращалась в свой барак. Хорошо, что было так много работы. Иногда в середине дня ей казалось, что в голове стучит молоток, что все это сон и она сейчас проснется. Нестерпимо было думать, что Аня там одна, зовет ее, плачет, а ее нет рядом. Шарфат, молоденькая медсестра, дежурившая в Аниной палате, очень жалела Сашу и всегда вызывала ее перед уходом или дожидалась, чтобы Саша вышла.

- Ничего, вот честное слово, ничего, - говорила она, не глядя Саше в глаза, - сегодня кашу поела. А так больше пьет.

Саша слушала молча и не спрашивала. Она знала, что настоящей правды все равно не услышит. Да и кто знает настоящую правду? Скарлатина - болезнь коварная.

- Ларинголог сказал - компресс. Ну, а в случае чего... Саша сама знала, что будет в случае

чего. И зачем она медсестра? Будь она просто мамой учительницей или бухгалтером, она не знала бы, как болят уши, как плачут ребята по ночам, не умея уснуть, не находя места на подушке. Она знала этот непрерывный осипший детский плач и отчетливо слышала, как плачет Аня. "Мы едем в темно", - вспомнила Саша. Она вспомнила, как они ехали в метро. Аню держал на руках Дмитрий Александрович. "Мы едем в темно?" - спросила Аня весело. Мы едем в темно, в темно, - думала Саша. И когда с перерывом в три дня в ее палате умерли двое детей, самые маленькие, безродные, Саша решила: умру, но Аню увижу. Она дежурила двое суток, получила отгул и, зная, что вернется в свою палату только через день, пошла в scarлатинозный барак.

В коридоре ее встретила Шарафат. Лицо ее вытянулось.

- Сумасшедшая ты. Кто позволил? А если обход сейчас придет, доктор придет? Что я скажу тогда? Или для тебя правила нет, закона нет?

- Нет, - ответила Саша и, как заколдованная, быстрым шагом пошла в палату.

Навстречу ей взметнулись Анины глаза. Аня глядела на мать, не веря, приоткрыв рот. Она не сказала: "Мама". Она застыла. Саша нагнулась и, всхлипнув, обняла Аню. Она

Держала ее на руках, гладила Анины босые ноги. Шея и остриженная голова забинтованы, маленькая рука с растопыренными пальцами гладит Сашину щеку и будто не верит, что Саша тут. Темно, душно, пахнет лекарством, кто-то стонет, слышится чей-то всхлип, а они счастливы. Лампочка тусклая, синий ночник, и личико у Ани синее, и бинты голубоватые, и белая кружка тоже отликает синевой, а они счастливы.

- Сильно болит? - говорит Саша.

- Ничего не болит, - отвечает Аня. - Я здоровая, я домой хочу.

Саша сует Ане леденец, и голубая Анина щека оттопыривается. До чего же Аня некрасивая, исхудалая, тощая.

- Красавица ты моя! - говорит Саша и тихо ступает по палате с Аней на руках. Она ходит между кроватями и укачивает Аню. И вдруг останавливается. В углу кроватка. Малыш лет двух стоит, крепко ухватясь за перекладину, и смотрит на Аню и Сашу. Большие глаза на исхудалом лице. В этих глазах отчаяние. И покорность. У этой девочки есть мама. А у него - нет. Он смотрит, не смея надеяться и не отрывая глаз. Его глаза ни о чем не просят, они знают: он один.

Саша подходит к нему и говорит:

- На, держи. Открой рот. Это вкусно. Ну, голубчик мой, ну!

- Это Шурка Терешкин, - говорит Аня и крепче сжимает мамину руку.

А Шурка, перехватив Сашин рукав, смотрит на нее снизу вверх и молчит. И вдруг несмело улыбается. Саша сжимает зубы и отходит. Потом поворачивает обратно. Шурка смотрит так же неотступно, молча и пристально, и чем ближе подходит Саша, укачивая на руках свою Аню, тем шире становятся глаза ребенка, и вдруг опять робкая улыбка, и чем ближе Саша подходит, тем улыбка шире. И опять Саша поворачивается и снова идет к дверям, зная, что в спину ей глядят Шуркины глаза.

Она укладывает уснувшую Аню, осторожно разжимает ее пальцы, освобождая руку, и идет к Шуркиной кровати.

Она берет малыша, всхлипывая, не смея заплакать, целует его тонкую шею, щеку.

- Ешь, - говорит она и сует ему в рот леденец.

- Эй! - слышит она позади свистящий шёпот. - Обход! Давай уходи скорее!

Это Шарафат. Она почти выталкивает Сашу из палаты.

Саша бежит с лестницы, потом по темной ташкентской улице и плачет. "Никогда, - говорит она себе, - ни за что, никогда. Чужих нет. Все мои. И как это я могла? Взяла Аню и хожу. Нет! Никогда! Ни за что!.."

И бессмысленное это бормотание - как клятва.

После слез спится крепко. Саша погрузилась в сон, утонула в нем, она спала, зная, что завтра выходной и на работу идти не надо. Ей ничего не снилось, но и во сне ее руки чувяли Аню. Ей казалось, что Аня рядом, и она боялась пошевелиться, чтобы не разбудить дочку.

Она спала глубоко, самозабвенно, а рядом без снов продолжали кипеть память и мысль. Кажется, стало светать. Саша приоткрыла глаза, увидела посветлевшее окно и снова уснула. Но тут ей начали сниться сны. Ей снилось, что у стола сидит Дмитрий Александрович и держит на руках щенка. На полу рюкзак.

- А ты не можешь потише? - спросил Дмитрий Александрович.

Дружок в ответ только сладостно чавкал.

- Ты, брат, видно, наголодался, - шепотом сказал Дмитрий Александрович. "Еще бы!" - чавкая, ответил Дружок.

И Саша опять спала, и снова к ее руке прикоснулась родная рука... Щетина небритой щеки зацекотала Сашину ладонь. Сашину руку осторожно поцеловали. Она открыла глаза и сказала:

- Митя...

- Спи! - ответил голос Дмитрия Александровича.

И Саша увидела его. Да, это был он. И не во сне. Няяву. Саша сонно сказала:

- Но ведь это не правда...

- Не правда! - легко согласился насмешливый голос. И, как бывает в минуты пробуждения, когда еще не все

Понимаешь, не все видишь и слышишь, не думаешь о том, как поступить, она прижалась головой к его груди и заплакала.

- Саша! Милая! - слышала она.

И он говорил ей слова, которые долго потом, когда его уже не было рядом, она повторяла себе, как повторяют молитву. А у нее слов не было, она только твердила: "Митя... Митя..." Только одно это слово всплыло из ее сонной памяти...

- Да. Уезжаю. Послезавтра, в Алма-Ату за оборудованием. А сюда, ты знаешь, сюда я попал против всяких правил, об этом, надеюсь, никто не узнает. Но подумай сама: проезжать мимо Ташкента и не видеть тебя. Ты не должна волноваться, если опять не будет писем. Я опять могу очутиться где-нибудь у партизан. Так ты ждала писем? Ну, расскажи по порядку. Ты подходила к окошку и давала паспорт. А потом? Так, от папы, от Нины Викторовны, даже от Леши, а от меня нет? Ты огорчалась? Правда, огорчалась? Ну подожди, ты же говорила, что

не любишь меня?

- Я этого не говорила!

- То есть как не говорила? Ты только это и говорила: "Дмитрий Александрович, я к вам очень, очень хорошо отношусь..." Это что значит люблю?

- Не могла я так говорить. Я сказала, что буду скучать, а это значит... Ну неужели вы не понимали?

- Признаться, не понимал.

- Зачем же вы приехали?

- Отсутствие характера. Полное отсутствие самолюбия. Ну ладно, подожди. Вот ты не получала писем. Ты шла с телеграфа и думала. Ну о чем ты думала?

- Я думала: где он? что с ним? не могу я больше! А потом думала так: не любит он нас - ни меня, ни Анюту.

- Анюта меня вспоминала?

- Еще бы! Ее один раз побил мальчишка - ну тут, в тупике. И она ему сказала: "Подожди вот приедут Леша с Митей, они тебе зададут". Ну ладно, давайте немножко помолчим.

- Не хочу. Расскажи, как ты меня л

- Люблю - и все.

- Ну, пожалуйста.

Саша подумала, подумала и сказала:

- Ты - мой милый.

Что бы Саша ни делала нынче, она знала: он недалеко. Она выйдет из больницы, и он будет ждать ее. И пойдут рядом. И он возьмет ее за руку.

И, как ни странно, она могла не думать о том, что завтра он уезжает. Казалось, впереди - целая вечность.

- С вами что-то случилось? - сказал доктор Юсупов. - Как Аня?

Ане стало лучше, и скоро она возьмет ее домой. Сегодня все было хорошо, счастливо. Все было, как вчера, как третьего дня: она давала лекарства, делала уколы, а в ней звучало одно: сейчас я его увижу, увижу, увижу! Вот он уже идет сюда, и сейчас я его увижу!

Она не спускалась - летела по лестнице. Она открыла" входную дверь и все было так, как она ждала: казалось, про, водив ее сюда утром, он и не уходил, а так и стоял, ожидая минуты, когда она выйдет.

- Вы! Это вы! - сказала она. - Это ты.

- Ну, наконец! А мне так легко было сразу сказать тебе - "ты"!

- Ты со мной, - говорила она, не слушая, - теперь я все могу. Все снесу.

- Это тебя со мной не было.

И вдруг со всей беспощадностью она поняла, что он завтра уедет, и опять она будет одна, и на ее долю останется самое трудное, самое невыносимое: ждать. "Нет, сегодня я, не буду об этом думать. Сегодня я буду радоваться. Он рядом. Мы вместе. У нас впереди еще целые сутки". ...

- Я не тратил время попусту, - услышала она его голос. - Я разыскал тут своих знакомых и сейчас же сведу тебя туда, познакомлю. Мне нестерпимо думать, что ты тут совершенно одна.

- Я не одна. Я с Аней. И я дружу с Шарафат, нашей медсестрой. Я дружу с Мухамеджановыми. Я...

- Нет, нет. Должны быть люди, которые помогут в случае чего. Люди, которых я знаю. Мы не будем там сидеть, я просто покажу тебе дорогу, и я хочу, чтоб ты их увидела.

Она не спорила. Ей было все равно, только бы вместе, только бы рядом. И они поднимались по лестнице большого дома и звонили в высокую, обитую, клеенкой дверь. Им открыл мальчик лет семи, худенький, сероглазый. А рядом стоял двухлетний малыш с головой пушистой и белой, как одуванчик. Малыш раскинул руки, словно собирался обнять их, и улыбнулся. Саша навсегда запомнила это детское лицо, и светлые, легкие, как одуванчик, волосы, и синие глаза, и улыбку.

- Я - Боря, - сказал он.

А в коридор уже вышли Валя и Костя Светловы, Митины друзья. И Митя говорил им: "Вот моя Саша..." и что-то еще. И Светловы что-то ласково отвечали и глядели снисходительно и добро, а Саша сидела на низкой скамейке и держала Борю на руках и не слышала, что они там говорили. Потому что только один человек ей был здесь важен, кроме Мити, - Боря, который первый на свете встретил их улыбкой и раскрыл руки для объятия.

- Не поручай меня больше никому, - сказала Саша на обратном пути. - Я буду считать, что ты поручил меня Боре. Нет, нет, я не пойду больше никуда только домой.

И был вечер, и была ночь, и снопа утро, день, вечер... Шел дождь. Шли минуты, и приближалась полночь. И не было расставанья, ведь они еще были вместе - сначала дома, потом на вокзале, под дождем.

Его лицо сквозь стекло вагона. И ее лицо сквозь стекло. Дождь хлестал и хлестал. Поезд тронулся под косой пеленой дождя, Саша позвала: "Митя-а!" - и побежала вслед за поездом. Поезд ответил стуком колес.

И вот она одна на вокзале, а вокруг - дождь, дождь, дождь... Он ударял о мостовые тихо, равномерно. Опустив голову, Саша шла по ташкентским улицам. Вот и дом. Блеснуло навстречу светлое окно. Они забыли погасить свет, когда уходили. Здесь, в этих стенах, еще слышится отзвук его шагов, его голоса. В блюде лежат его окурки, на столе - забытая зажигалка.

И вот он настал - день, когда Аню должны были выписать из больницы. Вернувшись с работы, Саша вымыла полы. Она сбегала на рынок и купила четыре яйца и сто граммов русского масла. Посреди стола лежал шпиг, который привез Митя.

Дружок тоже ждал. Он был умыт и причесан. Выражение морды у него было самодовольное.

- Жди! Сейчас принесу хлеб - и за Аней! Саша побежала за хлебом.

Если уж человеку удача, так везет во всем. В булочной "выбросили" баранки. Серые, жесткие, но все-таки это были баранки!



- Баранок! На всю карточку! - сказала Саша и получила четыре больших бублика.

Она бежала домой, не чуя под собой ног. Вошла в комнату, положила баранки на стол и вдруг заметила: в комнате что-то не так. Поискала, пошарила глазами - как будто все на месте. Ничего не забыла. Надо идти. Она сложила в кошелку Анины вещи и сказала:

- Ну, давай жди! - но никто не отозвался. Дружка не было. - Дружок! позвала Саша.

Дружок не отзывался. Саша поискала в сарае, на дворе и вдруг в окне заметила хозяйку, которая наблюдала за ней, чуть скосив в ее сторону глаз. Что-то ударило Сашу в сердце.

- Ольга Ивановна, - сказала она, вбежав в дом, - где Дружок?

Сложив руки на груди, хозяйка заговорила величаво и грозно:

- Люди добрые, вы только послушайте! То - где ее девчонка, то - где ее паршивая собака! Да что я, нанималась в няньки вашей собаке? Да что же это за наказание Господне!

- Молчите! - сказала Саша.

- В своем доме - молчать? Сама молчи! Не нравится - пожалуйста, на все четыре стороны.

- Где Дружок? - бешено сказала Саша.

- Выбросила я твоего паршивого пса. Людям жить негде, а у меня дом, не собачья будка! И так заразу нанесли! Скарлатина! Да что я, не знаю, - не скарлатина, а сыпняк! Думает, я не знаю! Весь дом обовшивили, на стул сесть боишься!

У Саши похолодели руки и ноги.

- Вот что, - сказала она очень тихо и очень медленно. - Детей не пожалею, себя не пощажу, в тюрьму сяду, а тебя задушю!

Хозяйка задохнулась, открыла рот, побелела, и уже на улице Саша услышала, как та, выскочив следом, кричит:

- Люди добрые, да вы послушайте, чем грозитесь! Смертью грозитесь! Осиротить моего ребенка хочет!

Крепко держа в руке кошелку с Аниными вещами, Саша, не оглядываясь, шагала по улице, а ей вслед летел истошный крик. Саша завернула за угол, и крик оборвался. И вдруг за спиной она услышала топот чьих-то ног. Хозяйка? Побежит за нею до больницы, испугает Аню. Что же делать? Саша обернулась. За нею бежала хозяйская дочка Зоя. Пятнадцатилетняя девочка, которую Саша прежде почти не замечала.

- А вы ничего, ничего, вы, пожалуйста... - бормотала девочка. - Все знают, она такая. И вы не плачьте. Я поищу. Я весь тупик обегаяю. Я тут все места знаю.

Саша шла молча, опустив голову. Девочка отстала, шаги ее затихли.

...Через два часа Саша вернулась, держа на руках Аню.

- Мама, тупик! Мама, колонка, мама, калитка! - говорила Аня, протягивая руку.

Саша давно перестала замечать все это, а теперь видела: все радуется в ответ Ане - и тупик, и колонка, и калитка.

Саша опустила девочку на землю и выпрямилась.

- Дружок! - закричала Аня.

Он полз, прижимаясь брюхом к земле, не скулил, не лаял и даже не вилял хвостом. Он замер от счастья и вдруг, опомнившись, завизжал и запрыгал, как мячик. Потом опрокинулся на спину, задрал кверху лапы и вновь вскочил, залаял, завилял хвостом.

- Пришел! - сказала Саша. - Пришел мой милый, пришел дорогой!

- Мама, ты чего плачешь?

- От радости, - ответила Саша. - Ты дома! Мы дома! И семья вошла в комнату - Саша, Аня и Дружок.

Зима. Не белая, не пушистая. Темная, сырая. От Мити пришла одна телеграмма - из Алма-Аты, и письмо из дому, он написал его перед отъездом на фронт. И одно письмо с фронта. Она помнила каждую букву в этом письме, оно постоянно было с нею. Сколько раз она читала и перечитывала его: и в больнице, и дома, и "на улице. Читала снова и снова, читала наизусть, уже не вынимая из конверта.

Она не могла сказать, часто ли она вспоминала Митю. Она думала о нем неотступно, не расставалась с ним ни на минуту. Прежде все ташкентские улицы были для нее одинаковы. Теперь стало не так. Улицы ожили, он населил их. И первое время после его отъезда все радостно напоминало: вот :здесь, на этом углу, мы остановились, и он сказал: "Посмотри на меня". Почему это было так важно? "Посмотри на меня..." Я посмотрела. И он сказал: "Моя..."

А вот тут у почты мы простились, я пошла в больницу. Он сказал: "Целый день без тебя. Длинный пустой день". Потом он пришел за мной: "Саша, какой подарок - мы освободили Клин и Ясную Поляну!" И еще он сказал: "Вот мы и опять вместе". Я сказала: "Теперь время помчится вскачь". А он ответил: "Завтра я уеду..." И уехал.

Потом, вскоре после его отъезда, освободили Калугу. Саша написала туда - и вот пришло письмо от Николая Петровича. Письмо скупое: "жив, надеюсь еще увидеть вас и Аннушку". И Саша вспомнила: когда перед самой войной она ездила в Калугу, Николай Петрович сказал ей: "Что-то с вами случилось хорошее, дитя мое..."

Неужели он тогда понял то, чего она сама еще не понимала? "Что-то с вами случилось хорошее, дитя мое..." Да, видно, это случилось с ней еще тогда... Только она этого не знала. Теперь знает. И думает об этом неотступно. Она писала Мите каждый день. Писать - значило говорить с ним. Ей казалось, она забыла слова, от которых падает сердце. Она больше не хотела знать их, не вспоминала, не повторяла. Но, забытые, они жили в ней.

Саша писала Мите каждый день, но ответных писем не было. И когда потянулись месяцы без писем, без вестей, ташкентские улицы стали нескончаемо длинными, дорога в больницу - небывало тяжелой.

Заботы шли рядом, как тень.

Аня... Сидит в комнате одна, на корточках, играет пустыми спичечными коробками. То наденет их на пальцы, то что-то им шепчет. То удивится, вздохнет... Хорошо еще, что рядом Дружок.

Еды мало. Сахару нет совсем. А без этого Аню не поднять.

Больница? Вчера умер Толя Полоскин. Совсем было пошел на поправку, и вдруг...

Леша? Леша пишет редко. А из Москвы письма частые: "Береги себя и Аню, - писал отец. - А за нас не беспокойся. На фронте лучше, значит, и нам веселее. Мы все здоровы и

благополучны. Тетя Маргарита достигла наконец того, о чем мечтала всю жизнь, но не могла добиться: она стала очень худая. Прежде, если помнишь, ей не помогали ни Кисловодск, ни гимнастика, а теперь пожалуйста, сбавила десять кило. Она по-прежнему в команде ПВХО, дежурит в подъезде, а то и на крыше. Такие годы, а угомониться не может".

Да, тетя Марго была верна себе. "Посещаешь ли ты концерты Тамары Ханум? - писала она. - Это замечательная артистка. Кроме того, в Ташкенте сейчас Ленинградская консерватория".

Что верно, то верно. В Ташкенте Ленинградская консерватория. И, слов нет, Тамара Ханум - замечательная артистка. Но как оставишь Аню одну вечером? Она и так целыми днями одна.

Хозяйка перестала орать, но на всех своих кадках с кислой капустой, с маринованными огурцами она повесила записки: "Чего не клал, того не бери!"; "Не сдвигай крышку, все равно замечу".

Шли дни, все длинней становился путь в больницу, все тяжелей тревога. Если бы получить еще хоть одно письмо, хоть одно-единственное. Но Митя молчал.

Вечер, обратный путь. Вот у этого низкого заборчика около почты он стоял, ожидая, когда она выйдет из больницы. Опершись о забор, он читал. Когда дверь больницы отворилась, он уронил газету, не подняв ее и пошел Саше навстречу. Вот и тупик. По тупику они тоже шли вместе. А вот и дом. Светится ее окно. Там Анюта. Скорее, скорее! Затопают тонкие ножки, обрадовано засияют круглые глаза на тощем личике. Саша толкает дверь и слышит Анин голос:

- Посыпьте мне сахаром!

Спиной к Саше стоит, наклонясь над Аней, какая-то женщина в платке, в широкой деревенской юбке.

- А шпиг это тоже нам? И консервы?

- Все вам, матушка, все. Для вас и везла. Так и наказал:

- Анну по весу приму. Не раздобреет - на глаза не показывайся.

- Здравствуйте! - растерянно говорит Саша.

- Здравствуй, голубушка! Раздевайся, садись. Вот чай. Воду в умывальник налила, еще теплая, верно. Мой руки и садись.

- А... простите, конечно... А кто вы? Откуда?

- То есть как это - откуда? Из Москвы. Вот уж с месяц добираюсь до вас. Димитрий, как отсюда прибыл, так сразу и сказал: давай езжай без разговору. Жена, говорит...Гм... Ну, это, конечно, ваше дело, а мне что? Собралась и поехала. К матери твоей велел зайти. Зашла. Чего не зайти? Ну, чего ты глаза вылупила? Я - Димитриева нянька, неужто не рассказывал?

- Ну как же! Анисья Матвеевна? Я очень знаю! Сядьте, отдохните с дороги!

- Да уж ты меня не усаживай. Насиделась! Пей чай, простынет.

- А Митя? Где же Митя?

- Митя! Где положено, там и есть. Нас с тобой не спрашивали, когда посылали.

- Но письма? Письма?

- Да ты что? Делов у них там других нет - письма писать! Небось не на печи лежит, дело делает. Какие письма!

Саша умолкла. Ей вдруг показалось, что она куда-то проваливается, плывет, в ушах зазвенело. Когда очнулась, увидела над собой серьезное, почти злое, морщинистое лицо Анисьи Матвеевны и услышала рядом Анин плач.

- Помолчи, видишь, матери не до тебя, - сказала Анисья Матвеевна и добавила неодобрительно, обращаясь к Саше:

- Эх ты, хлипкая, как я погляжу. Да это что - другие в такие годы кули на плечах таскают, а она, смотри, сразу сомлела.

Говоря так, она дала Саше воды, утерла Ане лицо, смахнула со стола крошки, потом принялась развязывать большой мешок.

- Иждивенческая карточка, она что же. Я отоварила, да толку мало. Конфетки девчонке. Вот яичный порошок, яичница что твоя подметка выходит. А от матери - сахар, крупа - рис, бутылка водки и три пачки чая. Отец твой наказывал, чтоб не продешевила: тут, в Ташкенте вашем, чай, говорят, уважают. Отец твой меня и до поезда проводил. Ну, мать, стало быть, простынь еще пару прислала. Платьишко. Гляди, варежки. Это я надумала, хоть и тепло, а, говорю, пригодятся. Ну, вот и все. Да нет, вот еще, на донышке - башмаки. Хорошие, цельные, ненадеванные. Гляди!

И она поставила на табуретку детские ботиночки. Красные, они стояли на табуретке и горели, как огоньки. У них были тупые носы и красные шнурки с желтыми металлическими наконечниками.

- Мама, мама! - закричала Аня. - Да ты погляди - красные башмачки!

И вдруг Саша заплакала. Дальнее пламя обожгло ее и перевернуло ей душу.

- Мама, почему ты плачешь? Тебе не нравятся башмачки?

- Это... это тебе подарок от папы! Это... это когда ты только что родилась... Дядя Володя... и тетя Юля... и папа...

Старуха сидела за столом, строгая, уважительная. Она глядела в окно на темную улицу и молчала. Аня тоже примолкла. Она села на пол, взяла на колени красные башмачки и осторожно перебирала пальцами шнурки.

И только когда Дружок стал тыкаться носом ей в колени, Аня сказала:

- Не смей. Это мне от папы. Подарок.

Да, теперь легче, куда легче! Просто легко. В доме стало тепло и гораздо сытнее. Уходя в больницу, Саша не думала больше о том, накормлена ли Аня, умыта ли, не обидела ли ее хозяйка. Саша знала: сыта, умыта, не обижена.

- Зарплату нынче получила? - строго спрашивала старуха.

- Да, вот. Пожалуйста, возьмите, Анисья Матвеевна.

- И возьму, - говорила Анисья Матвеевна и забирала все деньги до последней копейки.

Она быстро освоилась с городом, знала, в каком магазине что дают. Хлеб и чай на рынке меняла сама - Саше и во сне не снилось, что за буханку хлеба можно получить пятьдесят

граммов масла и пяток яиц. Анисья Матвеевна была немногословна, однако у нее завелись знакомые, и когда вечерами она выходила в тупик посидеть на лавочке, к ней подсаживался старик Мухамеджанов.

"Кум!" - говорила ему Анисья Матвеевна. И он говорил ей также: "Кум!"

- А скажи, кум, вот эта крупка ваша зеленая - маш, что ли? Вы ее как готовите? Вот оно что... С бараниной, значит. Ну, ну.

Потом покупала или выменивала на рынке крупу маш и готовила ее так, будто век жила в Узбекистане.

- Хорошо, кум, хорошо, - говорил старик Мухамеджанов. - Так сварил, верно сварил. В другой раз перцу положи, совсем хорошо будет.

Анисья Матвеевна умела шить. Она перекроила какой-то свой фартук - и у Ани появилась новая юбка с бретельками. Она починила всю одежду и из двух рваных простынь сделала одну новую.

Кроме всего прочего, Анисья Матвеевна прибрала к рукам хозяйку.

- Что это вы повесили бумажек? - сказала она. - Кому это нужна ваша капуста? Я ее, хоть просите, есть не стану, приплатите - и то не стану!

- Да уж будто я не замечаю! Крышка сдвинута. Я тут такой гвоздочек для заметки поставила, смотрю, гвоздочек...

- Да подите вы со своим гвоздочком. Я вашей поганой капусты и в рот не возьму и ребенку не дам. И не орите вы. У меня от вашего ору в ушах звенит.

Вечером, собирая на стол, она сказала задумчиво:

- И вот гомозится, и вот гомозится. И чего людям надо? То капусту ее тронули, то будто ты ей смертью грозила. А я говорю: да кто вам поверит? И правда, зачем врет? Эх, люди, люди...

Саша смотрела на Анисью Матвеевну и думала: "Да, теперь можно уехать. Ане и без меня будет хорошо. Это мне без нее будет плохо. Но я должна быть там. Я давно должна была быть там. Аня уже привыкла к ней. Им будет хорошо вдвоем".

- Анисья Матвеевна, - сказала она, - я давно уже думаю... Я подала заявление... на фронт.

Анисья Матвеевна с сердцем хлопнула тряпкой по столу.

- Ну как же... Разве без тебя с немцем управятся? Где уж! Брось молоть чепуху. На меня, конечно, девчонку оставить можно. Да вот тебе там делать нечего.

- Я медсестра!

- А ты скажи мне, почему ты тот раз сомлела? Нет, подожди, поглядим сперва, что к чему, а там уж и немцев бить пойдём.

Не понимает она, - думала Саша. Ей это только смешно. А вот Митя бы понял. Теперь бы понял. Где он сейчас? Почему молчит? Он сказал: не беспокойся, если не будет писем. Легко сказать - "не беспокойся".

И еще она думала, глядя на Анисью Матвеевну: "Митина няня. Она знала его мальчиком - это она повела его в школу. Она провожала его во все путешествия, она стояла на пороге, когда он возвращался. Она ухаживала за ним, когда он болел. Она знала каждую минуту его жизни.

А что знаю о нем я? Ничего".

И однажды, собрав все свое мужество, Саша попросила:

- Анисья Матвеевна... расскажите... расскажите про Митю. Ну, какой он был? Ну, когда маленький еще...

Старуха ответила быстрым, пронзительным взглядом и продолжала молча перетирать посуду. Когда Саша потеряла уже всякую надежду на ответ, Анисья Матвеевна вдруг заговорила:

- А чего рассказывать? Мальчишка и мальчишка. Как все, так и он. А я вот про другое думаю. Значит, выбрал он. Приехал отсюда и так прямо и говорит: жена, мол. Ведь сколько вашей сестры было - не сосчитать. Бабы ему сильно на шею вешались. Всякие были, всяких навидались. И лауреаток видели.

У Саши остановилось сердце. Она не знала, как быть, но ей казалось непременно надо что-то сказать. Она лихорадочно перебирала в уме всякие безразличные слова, например: "да?" или "вот как?". Но неожиданно для самой себя сказала:

А... какие же они были?

Были, да сплыли, - сказала Анисья Матвеевна. Сказала, как отрезала.

Ночью Саша лежала без сна. Ну, в самом деле, - думала она, - что я о нем знаю? Ровно ничего. Я не знаю, как он жил до меня, кого любил. А зачем мне знать? Разве это что-нибудь изменит? Разве изменится от этого наша с ним встреча здесь, и то, что он говорил, и как мы прощались на вокзале? Зачем мне знать, что было когда-то?

...Я не буду, я ни за что больше не буду об этом думать...

Я буду думать о чем-нибудь очень хорошем. Как мы с Юлей и Лешей собирали грибы в Ильинском. Вот говорят, старшие сестры редко дружат со своими младшими братьями. А мы с Лешкой всегда дружили. И, наверно, ни одна сестра на свете не любит своего брата так, как я Лешку. Штурман... Лешка штурман. Даже поверить нельзя. Это он привез Митю в Ильинское. Митя долго тогда не ложился, все ходил по саду... и курил трубку. Уже был август. Да, август, потому что расцвели золотые шары. И рябина стояла красная. А потом мы с ним плыли через речку, и он сказал: "Обопритесь на меня, Саша". А потом он болел, и я его навещала. Зачем я не села тогда рядом с ним? Зачем не обняла? Я не хотела его любить. Ни за что не хотела...

...Сейчас я буду думать про Юлю. Вот кто меня действительно любит. Если бы мы с ней поссорились, я не знаю, как бы я жила на свете. Она не любила Митю - или мне только так казалось? Один раз она сказала: "Он киношник. А все киношники..."

Саша шепотом окликнула:

Анисья Матвеевна, вы спите?

- Чего тебе?

- Анисья Матвеевна, - сказала Саша, глубоко презирая себя, - а какие они были... ну, эти... - Саша почему-то не могла сказать "женщины" и сказала:

- ну, эти лауреатки?

- Лауреатки, и все! - ответила Анисья Матвеевна и повернулась на другой бок.

...А может, он не любил меня? И ему это просто показалось? Приехал, повидал - и понял, что это ему только показалось? Почему человек не может думать, о чем хочет? Почему я думаю о том, от чего мне больно? Я не хочу думать о нем. Но как же не думать? А если он ранен? Если погиб? Что я буду делать без него? Как буду жить? Дышать? А если он жив и здоров и просто забыл обо мне? Ну и пусть. Пусть только будет жив...

- Я ему говорю, - услышала она вдруг голос Анисьи Матвеевны, - неужто не нашел без ребенка? Столько тут толкалось всяких, а ты берешь с дитем? Ты не обижайся, я тебя тогда не видела, какая ты, - знать не знала, вот и спросила. А он говорит: будет тебе глупости болтать. Я, говорит, ее люблю. И дите люблю. Дите никогда не лишнее. Ну, а мне что? Любит так любит, значит, и я обязана. А девчонка что ж... Тощая она у тебя. Кормить надо.

Он жив, - думала Саша, засыпая. Он жив. Он вернется. Он помнит. И любит.

"Когда Анюта вернулась из больницы, она ходила за мной по пятам, а ночью протягивала руку, чтоб увериться, тут ли я.

Анисья Матвеевна разговаривает с ней так:

- Анна, не лезь! Эй, Анна, сейчас по затылку получишь! Анна, давай садись!

И Анюта ничего, не обижается. А я если строго погляжу - она сразу в слезы.

Ходила на донорский пункт. Но кровь у меня не взяли: "Что вы, мамаша!"

Я привыкла, что я "сестрица", а тут вдруг опять - "мамаша". Неужели правда? Как же мне быть?

- Мама, у хозяйки голос, как у Бармалея. Я ее боюсь.

Понемногу оправляется от болезни. На улице все порыва стел попрыгать, перескочить через какую-нибудь яму, арык. Иногда беспричинно смеется - без всякого повода, просто от полноты чувств. Очень любит Юру и Сережу. Анисья Матвеевна говорит, когда они приходят: "Ах, полено им в лоб!" Но всегда усаживает за стол и кормит.

Почему Анисья Матвеевна никогда не рассказывает о Мите? Вот папа так любит рассказывать, как мы с Лешкой были маленькие, а Анисья Матвеевна никогда ничего не расскажет. Но когда она говорит "он" - это всегда про Митю: "Он велел тебе валенки раздобыть" или: "Он наказал - научись в Ташкенте плов стряпать".

Шарафат говорит: "Сумасшедшая!" Наверно, она права. Но я хочу, чтоб он был - Митин сын.

Нынче Анюта сказала:

- Ты знаешь, мама, почему я положила голову к тебе на колени? Чтоб ты не плакала.

Почему она знает, что, дав себе волю, я заплачу? Ведь я не даю себе воли?"

Саша не давала себе воли. "Я не смею думать ни о чем плохом, потому что у меня есть Аня. И потому, что скоро у меня будет сын", - говорила она себе. Она старалась не думать о страшном, но оно стучалось ей в сердце. Война не хочет помнить о том, что Саша ожидает сына. Нет писем от Мити, нет писем ни от Лешки, ни от Юли, умолкли и отец с матерью. Саша стоит на почте. Она уже слышала, что писем нет, но уйти не в силах. И вдруг за спиной раздался крик.

- Убили! Убили! - кричал кто-то.

Саша оглянулась. На полу билась женщина, теплый платок сполз ей на плечи, седые волосы растрепались. Закинув голову, старуха кричала: "Убили!" Вокруг теснились люди, все наперебой что-то советовали, женщины плакали.

- Пропустите! Я медсестра! - сказала Саша, пробиваясь через толпу.

Толпа расступилась, как всегда расступается, услышав спокойный, уверенный голос. Сняв с себя платок, Саша положила его старухе под голову, расстегнула ей пальто.

- Убили! - кричала старуха.

И вдруг она умолкла. Ее тело обмякло, голова скатилась набок и стукнулась бы об пол, если бы Саша не приняла эту седую голову в свои ладони.

Саша взяла руки старухи, искала пульс, приподняла веки... Потом взяла с полу конверт с номером полевой почты и письмо: "Ваш сын... смертью храбрых..."

...И снова Саша шла по улице. "Убили!" - звучал у нее в ушах крик женщины. Перед глазами неотступно стояло смуглое лицо, искаженное болью, растрепанные седые волосы. Пуля, просвистевшая там, далеко, за тридевять земель, убила сразу двоих.

Голова кружилась. Саша оперлась о чей-то забор. "Я тут, - сказал ей сын и, видно, повернулся на другой бок. - Это я". Саша постояла, передохнула и побрела домой... "Тебе нужно счастье, - мысленно говорила она сыну. - Ты мне потом не простишь ни бессонных ночей, ни слез, ни того, что я держу тебя впроголодь. Я должна спать, не должна плакать. А как же мне не плакать?"

Голова кружилась от слабости, от пережитого волнения. Она боялась Анисьи Матвеевны, боялась, что та опять скажет: "Эх ты, хлипкая". Она заставила себя улыбнуться и переступила порог.

За столом сидела девушка-лейтенант. Анисья Матвеевна поила ее чаем. Увидев Сашу, девушка потянулась к ней, встала из-за стола, потом, чуть подумав, обняла Сашу за плечи.

Ты кто? - спросила Саша.

Как это кто? Я от Юли! - ответила девушка. - От Юли, от Юли, - говорила она, усаживая Сашу и снимая с нее пальто. - Да что это на тебе лица нет? Все хорошо! Да я же посылку! Погляди! Шоколад, сахар! Только масло недовезла, три недели ехала. Оно стало просачиваться. Эх, плохо вам на гражданке, мы сытней живем!

На столе лежали консервы, банка какао, плитка шоколада. Анисья Матвеевна собирала все это и, пользуясь общим замешательством, прятала в нижний ящик комода.

- Подогреть чай, что ли? - спросила она. - Полно, Анна, полно, наелась и будет, это сало тебе сейчас ни к чему

- А письмо? - сказала Саша.

- Вот, успокойся! - и девушка подала конверт-треугольник.

"Сашенька, милый мой друг! - было сказано в том письме. - Посылаю тебе немного продуктов и деньги. Я знаю, как тебе трудно.

Мы с Володей поженились. Теперь мы вместе и никогда не расстанемся. Правда, он все время в полетах, а я переводчица. Но все равно мы вместе! Каково тебе там? Я знаю: не легко".



Да... Теперь об этом думать нечего. А ведь и они с Митей могли быть там вместе.

И снова жара. Ташкентский май - не весна, лето: жаркое, знойное, палящее. Солнцу ни до чего нет дела - ни до того, что у Шарафат месяц назад погиб жених, ни до того, что молодой доктор Юсупов подал четыре заявления, прося послать его на фронт или хотя бы перевести из детской больницы в госпиталь. Дни идут, идут, а известий от Мити по-прежнему нету...

От Юли пришли две посылки. Саша писала Юле, но что-то мешало сказать ей о Мите, о ребенке. Она не знала, что писать, - замужем она? Или опять вдова?

Однажды Саша решила пойти к Светловым: может, они что-нибудь знают о Мите? Может, долетели до них вести от общих друзей? С минуту Валя глядела на нее в недоумении, будто припоминая.

- Наконец-то! Наконец-то! - воскликнула она, всплеснув руками. - Мы ведь не знали, где вас искать. "Вот моя Саша". А фамилия? Адрес? Или уж сказали бы, где работаете, я бы пошла спрашивать, нет ли у вас Саши? Перебрала бы всех Саш, сколько бы их там ни было. А то поди разыщи Сашу в целом Ташкенте! Вот это поручил! Вот это позаботился! А выто... Вон оно... Ну, что он пишет?

Нет, и они ничего не знали. Теперь Саша разглядела Валю: милая, кареглазая, с россыпью веселых золотых веснушек на носу и щеках.

- Костя пока еще дома, - сказала она тихо, - но со дня на день...

Она глядела мимо Саши в окно, а Саша держала на коленях Борю, как в тот день, в тот далекий счастливый день, которого, может, и не было? Это он тогда первый поздравил их, улыбнулся им. Он сидел у нее на коленях, доверчиво прислонясь головой к ее плечу, и внимательно слушал. Она перебирала его маленькие пальцы, приговаривая:

- Этот пальчик - молодец, этот пальчик - удалец...

И вдруг, как если бы ее позвали или толкнули, она подняла глаза и встретилась с Валиными глазами. И Валя не успела ни прикрыть их, ни отвернуться. Захваченные врасплох, ее глаза сказали - и Саша прочитала в них все с такой отчетливостью, как если бы это было написано черным по белому: "Ты пришла сюда полгода назад, молодая, счастливая, любимая. А теперь... Что с тобой случилось? Тебя нельзя узнать. Ты одна. Хуже, чем одна, ты не свободна. И зачем себя обманывать, мы обе понимаем, что означает это долгое молчание..." Они смотрели друг на друга какую-нибудь секунду, и обе разом отвели глаза. Саша осторожно спустила малыша с колен. Он поднял к ней маленькую руку с растопыренными пальцами: "Этот пальчик - удалец? спрашивал он. - А этот?"

А Саша шла к двери, и Валя что-то говорила ей вслед бодрое и утешительное, но никакие самые добрые слова не могли бы зачеркнуть того, что Саша прочитала в то короткое мгновенье, когда они молча смотрели друг другу в глаза.

Вот и Саша сидит на лавочке в тупике. Утро тут начинается криком: "Кисло-пресно молоко!" Выходят к колонке женщины, потом высыпают на улицу ребятишки. У Саши никогда не было времени здесь посидеть. Она всегда бегала - за водой к колонке или в поисках Ани: "Аня, Аня! Да куда же ты девалась?", или по дороге в больницу, или возвращаясь домой. Оказывается, если не мчишься, вытаращив глаза, а тихо сидишь на лавочке, тупик выглядит совсем иначе. Прежде мелькали колонка, ставни того дома, что напротив, деревцо, свесившее ветви через забор, какие-то ребятишки. Теперь все стоит на месте и будто говорит: погляди на нас. На одном доме висит одиннадцать, да, да, одиннадцать замков. Там, верно, живут запасливые, недоверчивые люди. Дерево ранней весной было свежее, веселое. Теперь оно пожухло, и ветки его утомленно свесились: ждут дождя. На дерево какой-то мальчишка из Подмосковья

приладил скворечник и каждый день проверяет, не поселился ли там скворец. Но дом пустует, скворцам жарко в Ташкенте, а может, им просто не нравится Чеховский тупик. А вон идет по тупику Мухамеджанов со своей старухой, увидел Сашу, заулыбался, закивал:

- Так, так! Сидишь? Отдыхай, отдыхай. Хорошо!

Часто из-за поворота показывается Валя Светлова. Теперь она следит за своими глазами, они у нее всегда настороже - веселые, бодрые. И никогда Валя не приходит с пустыми руками - то принесет лепешек из сахарной свеклы, то бутылочку кунжутного масла (Костя - журналист, он ездил от газеты в командировку и привез).

Однажды Сашу проведаль сам Костя. Он показался ей чем-то похожим на Митю: может, потому, что высокий, светловолосый, и взгляд пристальный, и губы насмешливые.

А вместе они никогда не приходили... И Саша знала почему. "Глупые они, глупые, - думала Саша, - думают, мне горько смотреть на их счастье, на то, что они еще вместе. Нет, мне не завидно. Мне просто очень страшно. Уж лучше бы не шла в отпуск, оставалась бы на работе. Там можно не думать, а здесь слишком много времени для мыслей. Не могу я думать, что его нет. Не могу я так думать. У Шарафат погиб жених, а она жива. И я тоже буду жива, если... Нет, нет, не хочу об этом..."

Саша подолгу сидит в тупике и ждет: она давно уже не ходит на почту, боится уйти далеко от дома. Письма приходят сюда, на этот адрес. Они и вправду приходят, как будто сжалились. Откликнулись Юля, Володя, Леша. "Здравствуй, сестра!" - сурово писал Леша и подписывался: "С фронтовым приветом". Анюте Леша писал: "Война скоро кончится, раз я вступил в дело. Надейся на меня, Анюта!"

Почтальон обычно выходит из-за угла в один и тот же час. Почтальон женщина, эвакуированная из Минска. Она добрая. Не задает лишних вопросов. Если писем нет, она только качает головой и опускает глаза, будто виновата в том, что Саше не пишут. Но вот уже неделя, как почтальон к Саше не подходит. Только издали приветливо машет длинной сухой рукой. И вдруг из-за того угла, откуда она скоро выйдет, появляются двое - высокая костистая старуха и девочка. Это Анисья Матвеевна и Аня. За ними трусит рысцой Дружок. Анисья Матвеевна не умеряет походку ради Анюты. Она идет крупным ровным шагом.

Саша медленно поднимается, идет им навстречу.

- Тетя Анисья, а письмо? Чего ты не отдаешь маме письмо?

- Эх, язык твой длинный, да ум короткий, - отвечает Анисья Матвеевна.

- Письмо? Какое? Где?

- Все своим чередом - говорит Анисья Матвеевна, как почтальонша, не глядя Саше в глаза.

- Отдайте письмо - шепотом говорит Саша, голос у нее внезапно пропал, и ноги не держат. - Отдайте, я должна знать.

- Горе ты мое! отвечает Анисья Матвеевна и вынимает из-за пазухи большой конверт с адресом, напечатанным на машинке.

- Не могу, говорит Саша, крепко сжав на груди руки.

Анисья Матвеевна разрывает конверт, далеко отставляя от глаз листок и потом говорит буднично, спокойно:

- От Митрия... Ну, слава Богу, едет он. Слышишь? Сюда, к нам едет.

Митино письмо было скупое. В начале: "Дорогая Саша", в конце: "Целую тебя". И все... Больше ласковых слов не было. Но главным ласковым словом было "еду". Едет!

Утро. Как хорошо вставать ранним утром. Как хорошо сидеть на скамейке, как славно смотреть на людей, которые ходят вокруг. И до чего не важно, что там орет хозяйка. Только думаешь иногда: и почему она никогда не говорит по-человечески, а всегда орет? Интересно, когда ей сказали "я тебя люблю" (а ведь это ей, наверно, сказали когда-то, раз у нее родилась дочь) что она ответила? Этого Саша даже представить себе не могла. Должно быть: "Знаем мы вас, таких". Потому что, даже когда она говорит своей дочке: "Зюечка! Моя сладенькая!", это звучит, как "черт тебя подери!".

А может она просто несчастная? Потому что счастливый человек не кричит, не сердится. Он умный и добрый. Да, все счастливые люди, которых знала Саша, были умные и добрые. "А может, и я поумнела?" - думает Саша.

- Глупа ты, мать, - говорила Анисья Матвеевна, глядя на Сашино невпопад веселое лицо.

По-прежнему приходила к Зое Сережина и Юрина бабушка. Зоя по-прежнему уныло играла Ганона и гаммы. Один раз, встретив Валентину Сергеевну у калитки - исхудалую и обтрепанную, с потускневшим лицом, Саша подошла и робко сказала:

- Валентина Сергеевна, сыграйте мне что-нибудь. Пожалуйста.

Валентина Сергеевна не удивилась. И ответила:

- Что же сыграть вам, голубчик? - Подумала и прибавила:

- Хорошо, я сыграю.

Саша осталась во дворе. Окна в доме были открыты, и оттуда было слышно все: и шаркающие шаги Анисьи Матвеевны, и скрип половицы, и стук тарелок, и то, как хозяйка с громом передвинула стул, - ее даже вещи боялись.

Потом были гаммы, потом Зоя играла "Сурка", потом "Осеннюю песню". А Саша все ждала, ждала терпеливо, но казалось - конца не будет фальшивым звукам, и она устала, а устав, перестала надеяться.

И тут оно пришло. От радости Саша крепко переплела пальцы, прижалась к стенке дома и слушала, слушала... "Я люблю тебя", - играла Валентина Сергеевна. "Я люблю тебя, я люблю тебя", - так говорили захлебывающиеся, нагоняющие друг друга звуки. Как вокруг хорошо. И черное небо, и звезды, и двор, и мусор, сметенный в углу двора. Покосившийся сарай, и уголек мангала, и чайник, пытящий на мангале. Смолкнув, музыка еще продолжала петь. Потом Валентина Сергеевна ушла, Саша вернулась домой, а ей все слышались те слова. Под их звук Саша уснула, но и во сне они ей слышались.

Среди ночи она проснулась. Окно было широко открыто. Уже стало светать. Босая, она подошла к окну. Было душно и не хватало воздуха. Ладонью она вытерла мокрый лоб/потом неслышно, чтобы не разбудить Аню и Анисью Матвеевну, стала бродить по комнате.

- Что, мать моя, одеваться, что ли? - раздался вдруг строгий голос Анисьи Матвеевны.

- Да нет, рано, - удивившись, ответила Саша.

Не говоря больше ни слова, старуха принялась одеваться,

- А ты что, босая, что ли, пойдешь? Одевайся!

- Да что вы, Анисья Матвеевна!

- Знаю, что говорю. Одевайся давай!

Неслышно, молча они вышли из дому. Переулок спал, небо было предрассветное, тусклое. Длинной казалась улица, брел вдалеке одинокий прохожий. Прошла какая-то женщина, - что подняло ее так рано? А вот идет солдат. Шинель серая, за плечами мешок, в руке чемодан. Идет медленно, будто насквозь пропыленный, будто ощупывая мостовую ногами в этот предрассветный час. Перешел улицу и зашагал им навстречу все той же усталой солдатской походкой. И вдруг, сама не зная, что говорит, Саша позвала:

- Митя!

Упал чемодан из рук, скользнул мешок с плеч. Митя бежал ей навстречу, и она ушла в тепло его рук, щека прижалась к шершавому сукну шинели.

- Ты? Ты! - говорил Митя. - Это ты!

Он отодвинул ее от себя, взгляделся в лицо, погладил пыльной рукой ее щеки. Потом, опомнившись, подошел к старухе, угрюмо стоявшей в стороне, обнял крепко, поцеловал.

- Иди. Спасибо. Я сам отведу ее. Пойдем, Сашенька...Новую девочку назвали Катей. Она родилась 20 сентября сорок второго года.

- Она тебе не нравится? - спросила Саша.

Митя стоял над корзиной, в которой спала Катя, и глядел на нее задумчиво и пристально.

- Она тебе не нравится? - повторила Саша.

- Мне жалко ее, - ответил Митя.

И правда, Катю было жалко: худая, тощая, смуглая до синевы и нисколько не красивая. Она бессмысленно ворочала глазами и шевелила слабыми ручками, похожими на куриные лапки. Она была куда спокойнее, чем Аня в ее возрасте, но, может, ей просто не хватало сил для крика.

Катя была истая местная уроженка: смуглая, черноглазая. Это понимали даже москиты. Они нещадно кусали всех, но Катю не трогали.

- Хорош девочка, наш, - говорил Мухамеджанов и добавлял, подмигивая:

- Мать на узбеков глядел, узбек и родился.

Катя вечно хотела спать. Молока не хватало, ее прикармливали молочной смесью, которую приносили из детской консультации. И Аня говорила:

- Мама, дай я тоже попробую.

- Тебе нравится твоя сестренка? - спрашивали Аню.

- Очень, - отвечала Аня. Она с удивлением и любопытством разглядывала Катины руки и ноги. Трогала голову, осторожно целовала в щеку. Запрещала Юре и Сереже дотрагиваться до Кати:

- Это моя сестра. Она маленькая.

У Анисьи Матвеевны появились слова, которых от нее прежде не слыхивали. Ее суровое

лицо теплело только тогда, когда она глядела на Катю.

- Аиньки, мой маленький... - говорила она. - Аиньки, мой миленький.

- А я? - сейчас же спрашивала Аня.

- Да будет тебе! - отвечала Анисья Матвеевна. - В деревнях дети в твоих-то годах бывают за нянек, а ты все малый ребенок.

Катя стала главным обитателем этой маленькой комнаты - повсюду висели пеленки, распашонки. Корзина, в которой она спала, стояла на лучшем месте у окна.

- Когда я была маленькая, я тоже спала в корзинке? - спрашивала Аня. Когда я была маленькая, меня тоже так запеленывали, как Катю? - допытывалась она.

"Аня очень любит Катю, - записывала Саша в своем дневнике. - Радуетса, когда та улыбается:

- Мама, мама, гляди!

Катя узнает Аню. Стоит Ане наклониться над ней, как она улыбается.

Но вообще-то Аня в последнее время бунтует. То "не хочу", то "не буду", то "на кой мне", а прежде была такая покладистая. Чего-то я проглядела. Напоишь, накормишь, убежишь на целый день и вернешься, чтоб уложить".

И правда, Аня стала бунтовать.

- Вымой руки! - сказал Митя, когда Аня села за стол. Аня не отозвалась.

- Ты что, не слышишь? - переспросил Митя,

- Не буду! - ответила Аня спокойно.

- То есть как - не буду?

- А на кой?

- Ну что ж, не получишь арбуза! - сказал Митя. Аня не поверила и молча принялась за кашу. Совала ложку

В рот, не глядя, и все косилась на арбуз. Толстый зеленый арбуз стоял посреди стола на тарелке, светясь бледно-розовой сердцевиной и подмигивая светлыми коричневыми семечками.

- Все! - сказала Аня, отодвигая тарелку, и сладко вздохнула:

- Дай арбуза!

Не ответив, Митя спокойно разрезал арбуз, положил кусок на Сашину тарелку, другой - на свою. Аня ждала. Митя принялся за арбуз. Саша нерешительно взяла в руки свой ломоть.

- А мне? - удивленно спросила Аня, не в силах поверить тому, что случилось.

Саша робко подняла глаза на Митю. Он спокойно ел арбуз, и светло-коричневое плоское зернышко с осторожным стуком упало на его тарелку.

И вдруг комнату огласил пронзительный плач:

- Арбууза! Дайте арбууза! Мне - арбууза!

Аня зашлась, она размазывала слезы по лицу, они катились градом, все новые и новые. Саша привстала, но Митя взял ее за руку, и она снова села.

И вдруг плач оборвался.

Аня посмотрела на мать. В глазах, еще переполненных слезами, было не горе, даже не упрек, только безмерное удивление. Она будто пыталась что-то понять. И вдруг поняла, что бессильна перед жестокостью жизни, что одолеть ее нельзя ни слезами, ни горем, ни упреком. И плакать бесполезно.

Сраженная, длинно всхлипнув, Аня встала со стула и побрела во двор.

Саша молча подошла к окну. Она увидела Аню у сарая. Аня больше не плакала и спокойно, даже как-то тупо смотрела перед собой.

Саша стала молча убирать со стола. Митя читал газету. Лицо у него было строгое, но справедливое. Оно говорило: это жестоко, но необходимо. Я тут старший и не могу допустить, чтоб дети росли без воспитания, как сорная трава.

За стеной раздались гаммы - начался урок музыки. Доремифасоль... Все выше, выше. Потом ноты, спотыкаясь, бежали вниз: фамиредо...

Саша перемыла посуду и вышла в тупик. У колонки сидели трое: Аня, Юра и Сережа.

- Ох, а у нас сегодня арбуз был, - рассказывала Аня. - Хороший. Сладкий очень. Я три куска съела. Я косточек засушу. Хотите, я вам косточек дам? Пришли бы раньше, и вам бы арбуз достался.

Закусив губу, Саша снова вернулась в комнату. Митя читал все ту же статью. Они сидели молча. Это молчание было тяжелым, неловким, и никто не понимал, как его нарушить. И вдруг с шумом распахнулась дверь. Вошла Анисья Матвеевна.

- Дурачье! - сказала она. - Одно слово: дурачье, и все тут. Ты на голове ходил, а я тебе в киселе когда отказывала? Ты озорничал, как домовой, ты учителю иголку в стул подсунул, а я тебя, дурака, пальцем тронула? Верно говорят: до двадцати - не силен, до тридцати - не умен, до сорока - не богат, - стало быть, ждаться нечего.

С этими словами она взяла нож, отхватила кусок арбуза, потом вернулась, отрезала еще два куска и вышла во двор.

- Прекрасно, - сказал Митя, не отрывая глаз от газеты, - воспитание по системе Макаренко: полная согласованность в действиях.

Иногда ей чудилось, что она его совсем не знает. Сперва она знала веселого, легкого, удачливого Дмитрия Александровича. "Посредством улыбки!" - говорил он. Потом был насмешливый, но очень добрый и терпеливый Дмитрий Александрович. Потом сюда, в Ташкент, приехал Митя, который просил: "Ну, расскажи, как ты меня любишь?"

Потом был тот Митя, о котором она думала непрерывно. Отец ее будущего ребенка. Тот, который был где-то там, на переднем крае, - солдат, герой. Потом, когда приехала Анисья Матвеевна, в ее редких словах - "а он, когда был мальчонкой..." - вдруг вставал перед Сашей веселый мальчик - сирота при матери и отце. "Цыган, в мать", - говорила Анисья Матвеевна. Потом был Митя из какого-то другого, чужого и незнакомого мира, о котором она старалась не думать, но думала часто ("и лауреатки были"). Но все это осталось там, далеко, за какой-то чертой. Сейчас перед ней был совсем другой человек.

Он не просто невесел. Он глубоко, даже угрюмо сосредоточен. Он подолгу молчит, барабана пальцами по оконному стеклу, и ночью уходит курить во двор. И снова Саша видит в окошко огонек его трубки. Но до чего же сейчас все по-другому. Не ею светится трубка, не к ней обращен огонек, не о ней он думает, шагая по темному бесшумному двору.

"Где ты? Куда ты ушел?" - твердила она про себя, а вслух спрашивала иначе:

- О чем ты думаешь?

- О разном. О многом. Прежде, видишь ли, мне было недосуг задумываться. Дела, дела: съемка, поездка, друзья. Мало ли что. А сейчас времени свободного хоть отбавляй. Вот и думаю.

Один раз он сказал насмешливо:

- А я-то воображал, что люблю свою работу. Куда там! Только сейчас, когда я ее потерял...

- А разве ты ее потерял?

- Нет, - ответил он зло, - я ее приобрел. Усовершенствовался в ней. Контузия очень помогает в кинооператорском искусстве. Особенно если принять во внимание, что на одно ухо я попросту глух. А уж если учесть, что проклятая рука дрожит, как у пьяницы, - оператор хоть куда!

- Но это пройдет! Я говорила с врачом.

- Чушь. Он просто тебя утешает. С контузией никогда неизвестно, что будет дальше. Она страшнее, чем рана.

Страшнее прямого увечья. Да что говорить... Ты прости, что говорю так прямо. Но ты должна это знать.

- Я - сестра. Я знаю. И все-таки я говорю, что...

- Давай лучше помолчим, - ответил он зло и горько. И они стали молчать. Ну, конечно, она говорила:

- Суп готов, садись. И он говорил:

- Оденься потеплее, нынче холодно.

Иногда, вечерами, они вместе бродили по улицам, он брал ее под руку, клал ее руку к себе в карман. И все же они молчали.

Чем он жил? О чем думал? О чем вспоминал? Часами он сидел за книгой. Подолгу глядел на спящую Катю. Углы губ у него опускались, он сидел застыв, не шевелясь. Один раз он сказал:

- Кто бы думал? Вся жизнь, весь смысл вот в ней. И все.

У Саши оборвалось сердце. Она ничего не ответила. И долго ей слышались эти слова, они отдавались в ее ушах вновь и вновь. И ей все казалось, что она в чем-то виновата перед Митей, что она не сдержала тех обещаний, которые, не обещая, даешь тому, кто тебя любит и кого любишь ты. Счастье, едва переступив порог, будто вновь ушло из дому. А почему? Неужели потому, что тесно, неудобно, голодно, необжито? Но вот какие счастливые письма пишет Юля, а разве ей с Володей легче, чем им? Или человеку легче вынести внезапный удар, большую тревогу, а не под силу неотвязная, ежечасная?

Иногда Митя воспитывал Аню: "Аня, не шуми, Катя спит... Аня, не прыгай... Аня, не трогай книгу, она библиотечная". - "Отцепись от девки! говорила Анисья Матвеевна. - Принеси-ка лучше воды". Накинув шинель, он угрюмо шел с ведром к колонке и до тех пор ходил взад и вперед, пока не наполнял водой бочку, умывальник и все кастрюли.

Иногда по вечерам он мастерила Ане из газетной бумаги лодки, шлемы, самолеты. А однажды принес из библиотеки "Слона" Куприна и стал читать ей вслух. Саша смотрела на зачарованное Анино лицо, на ее полуоткрытый рот. Наверно, Аня не все понимала, но как же она была счастлива! Анина улыбка, благодарное выражение ее лица ударили Сашу в самое сердце. Это было сильнее и пронзительнее, чем любая Анина жалоба, чем ее слезы и обиды. "Что же я наделала?" - вдруг подумала Саша и испугалась. Испугалась больше всего остального.

- Ну вот что, - сказал однажды Митя с усмешкой, - чем на печи сидеть, пойду-ка я в "Окна ТАСС". Это мне Костя Светлов присоветовал. Что ни говори, а кинооператор может пригодиться и как фотограф.

Он пошел в "Окна ТАСС", которые помещались на Пушкинской улице, и вернулся оттуда еще злее прежнего.

- Видно, надо усвоить раз навсегда: со свиным рылом нечего лезть в калашный ряд. Даже не потрудились поговорить вежливо, расспросить. Сразу с места в карьер: своих фотографов не знаем куда девать. А я что - чужой? И еще: нам не столько фотографии, нам художники нужны. Ну и черт с ними.

Саша не знала, что ответить, как утешить, не задев еще больше. Прошло три дня. Он почистил свой рюкзак, закрепил ремни, сам зашил распоровшийся шов, проверил фотоаппарат, отрезал кусок хлеба.

- Итак, продолжим свои творческие искания, - сказал он. - Еду в Фергану. Поеду в колхоз, снимаю, привезу рису или еще чего. Как-никак мужчина - семье опора.

Рано тебе еще путешествовать. И пропустишь массаж руки.

Пропущу! - легко согласился Митя. - Черт с ним, с массажем. Пока толку от него не видно.

Чего ж не попытать. Езжай, разомнись. И опять же - яиц, глядишь, крупки. Машем не брезгуй, хорошая крупа, - сказала Анисья Матвеевна.

Он уехал, его не было день, два, три. И четыре. Боясь себе в этом сознаться, Саша испытывала облегчение. Будто кто снял камень с ее плеч. Возвратясь из больницы, она разворачивала Катю, клала ее, распеленутую, на кровать, и они с Аней, примостившись по обе стороны, глядели. Катя лежала на животе, морщила лоб и тыкалась лицом в одеяло: то поднимет голову, то уронит. Аня хохотала:

- Гляди, гляди, какая смешная!

И никто не осаживал ее: "Аня, тише!"

- Девчонка захолодела, укройте! - говорила Анисья Матвеевна, но говорила не сердито, ей самой было весело смотреть на Катю.

А я была такая же маленькая? Расскажи! Когда я была, как Катенька, ты меня тоже клала на живот? И я также тыкалась носом? А ты меня сильно любила?

- Я тебя и сейчас люблю! Еще как!



- Нет, маленьких больше любят. Я знаю. Это все говорят.

- Будет тебе! Любит, не любит, плюнет, поцелует! Для матери все равны, - пробурчала Анисья Матвеевна. - Эх, дети! Морока!

Анюта очень любила Катю. А Катя - Анюту. Стоило Ане подойти к Кате, как та вскидывалась, будто хотела встать навстречу. Она не улыбалась, она хохотала, открыв беззубый рот, а если сидела на руках у матери, то тянулась к Ане и тыкалась лицом в Анино плечо.

- Дай мне ее поддержать, - умоляла Аня. - Вот честное слово - не уроню!

И Саша осторожно сажала Катю Ане на колени. Анисья Матвеевна смотрела настороженно, но не перечила.

Когда Катя засыпала, Аня взбиралась на стул, склонялась над корзиной и тонко тянула:

- Придет серенький волчок, схватит Катю за бочок. Она пела по-старушечьи, словно кому-то подражая,

Тягуче, печально.

Они спали на полу. Ане стелили отдельно, но сейчас она приползала к матери:

- Можно я к тебе? - и ложилась, тесно прижавшись к Саше. - Мама, расскажи сказку! - просила Аня. - Ну давай. А то ты все с Катькой да с Катькой.

- Ну что тебе рассказать? Ты все мои сказки знаешь.

- Ну, хоть про красные башмачки. Но Саша разлюбила эту сказку.

Прошло десять дней. Чувство освобождения уступило место тревоге.

- От Мити ничего нет? - спрашивала Саша, возвращаясь с работы и быстро оглядывая комнату. :

- Да что ты, матушка, на неделю уехал - и обратно письма!

Вот зашел бы он сейчас в дом, я знала бы, что делать, - думала Саша. Кинулась бы к нему, поцеловала бы и даже на Анисью Матвеевну не поглядела. Пускай скорей приходит! Пускай опять будет, как прежде, только пускай скорей возвращается.

Он вернулся, как и в прошлый раз, на рассвете. Вошел, обросший щетиной, с туго набитым заплечным мешком. Она вскочила и кинулась к нему.

- Не надо, Саша! Боюсь, насекомые. Я сниму с себя все во дворе. А ты согрей воды.

Он мылся горячей водой, она дала ему кусок нераспечатанного (Юля прислала!) мыла. Он плескался, тер мочалкой шею и счастливо поглядывал на Сашу.

- Яиц привез, кусок баранины и знаешь еще что? Ну; угадай! Нет, нет! Меду, меду! Это мне дала одна старуха за фотографию внучки. Фотография плохонькая, но девчонка забавная, вроде Ани.

Еще он привез с собой пленку и все кручинился, что дома негде ее промыть и отпечатать. Подумав, он вдруг сказал:

- Вот что, пойду-ка я в "Правду Востока". Авось не выгонят, - и подмигнул Анюте, которая уже проснулась и смотрела на него во все глаза.

Он вернулся из редакции поздним вечером и вынул из папки фотографии.

- Вот эту взяли, - сказал он, - и вот эту. Смотрите! Саша, нянька!

С большой фотографии в упор глядели два пожилых человека - отец и мать. Они сидели на ковре, положив прямые ладони на согнутые колени. Вокруг них семья: человек десять ребятишек. Старшие, вытянувшись во весь рост, стояли позади, младшие сидели тут же на полу. Из-за обычности фотографии - такие были и будут, так любят

Сниматься крестьяне - еще отчетливее выступала очаровательная странность этого снимка: трое детей были русские, беловолосые, один из старших мальчиков не то грузин, не то еврей. И все же это была семья.

- Усыновленные? - спросила Саша.

- Как ты догадалась? - спросил Митя.

Анисья Матвеевна усмехнулась:

- Скажешь тоже, слепой увидит. А вот этот из каких будет?

- Кажется, украинец, сейчас сверюсь, - сказал Митя и перелистал блокнот. - Ну, конечно, киевлянин. Гриша Лапотенко.

- А этого как звать? - Аня ткнула пальцем в самую маленькую.

- Это из Латвии - Илга. Ее родители погибли в бомбежку.

И Митя принялся рассказывать сразу обо всем - о колхозе, об удивительных стариках, о том, как он спросил старуху, зачем взяла столько ребят. И она ответила: "Люблю, чтоб шумели вокруг".

Они брали детей без разбора, не задаваясь целью устроить интернационал, они просто брали всех самых слабых и тощих. И каждого, кого соглашался отдать детский дом. Старуха на них покрикивала, старик был суров, но дети нашли семью, были в тепле и счастливы.

Через неделю вечером открылась дверь, и вошел щеголеватый подтянутый молодой человек с тонкими усиками. В первую минуту Саше показалось, что это вошел какой-нибудь киноактер, один из старых Митиных приятелей. Она стала быстро убирать со стола, виновато оглядела комнату и будто только сейчас заметила развешенные пеленки, матрасы, перевязанные бечевкой (ночью их раскладывали на полу, на день свертывали и убирали в угол), свое грязное платье - она только что вымыла полы.

- Разрешите раздеться? - спросил гость и улыбнулся такой светлой на темном лице улыбкой, что Саша забыла о себе, улыбнулась в ответ и простила ему щеголеватые усики. Бывает так: постучится далекое воспоминание, прозвучит строчка стихов, увидишь высокое небо или дерево в молодой листве и забудешь об усталости, и радуешься, и веришь вдруг: жить стоит, несмотря ни на что. Так было и с этим человеком, с ним словно вошли в дом покой и беспечность.

- ...Звонили из "Комсомолки", - услышала Саша голос узбека (он очень хорошо говорил по-русски). - Обещают напечатать сразу, просят еще прислать. А мы печатаем все три. И ждем вас к себе. Что вы пропали? Ну, работа не по вас, но дело такое...

Саша перевела взгляд на Митю. Он, похоже, не радовался добрым вестям, слушал учтиво, отвечал сухо:

- Благодарю вас. Хорошо, загляну.

На прощанье молодой узбек вежливо поклонился Анисье Матвеевне, подождал, чтобы она протянула руку.

- Мамаша? - спросил он и поклонился.

- Подруга жизни? - сказал он, останавливаясь перед Сашей.

- Подруга!

Саша улыбнулась так добро и благодарно, как только умела. Под ее взглядом юноша расцвел, и снова засияла его ослепительная улыбка.

- Митя! - радостно сказала Саша, когда дверь за гостем захлопнулась. Подумай, как славно! Сами пришли!

- Оставь! - ответил он. - Неужели ты не понимаешь, что это... это просто художественный свист?

- - не поняла Саша.

- Художественный свист! - сухо пояснил Митя. - Так называемая трепотня. И я не думаю... не считаю, что надо так уж приветливо улыбаться совершенно незнакомому человеку. По-моему, в этом не было никакой необходимости.

- Митя, да что ты?! Он ничего не ответил.

- Нянька... - сказал он, обращаясь к Анисье Матвеевне, и не успел договорить.

- А ты зачем тетю Анисию называешь "нянька". Это грубое слово! - сказала Аня.

И вдруг Митя встал. Его рука дрожала страшнее и больше, чем всегда. Он надел шинель.

- Я совсем забыл, - сказал он. - Я обещал заглянуть к Светловым. Я буду поздно, не ждите меня.

- Эх, мужики, мужики, - вздохнула Анисья Матвеевна, когда дверь за Митей захлопнулась, - в другой раз слабее всякой бабы.

Саша сидела, сжав зубы, глядя прямо перед собой.

- Вот что, матушка, послушай меня, - продолжала Анисья Матвеевна. Грех говорить, ты труда не боишься, расторопная, а все равно вижу - выпало тебе в жизни счастье, любовь тебе даром достается, искать, видно, еще не приходилось. Я не про мужиков говорю. Вот хоть старуха Мухамеджанова - кто ты ей? Никто. Тьфу. А она за тебя горой стоит, ровно ты ей дочка. И кум то же самое. И бабка эта, музыкантша: "Сашенька, Сашенька!" И вроде бы тебе люди опора. А сама ты опорой кому была? А? Что молчишь? Тебя спрашиваю! Вот то-то, что не была еще! А мужик, хоть и солдат, хоть и герой из героев, а опора ему нужна. Понятно говорю?

- Понятно, - ответила Саша.

Она бы и хотела стать ему опорой, да как? Митя не делил с ней своих забот. Но она видела, что "так называемая трепотня" захватила его с головой. Он вставал рано и приходил в редакцию одним из первых. Он съездил уже в Маргелан, Фергану и Чимган и привез кучу отличных снимков, по вечерам сам делал подписи под фотографиями, и четыре из этих фотоочерков уже были напечатаны в "Правде Востока" и один в "Комсомолке". Митя был

полон виденным, у него то и дело возникали новые идеи и планы. Иногда ночью во дворе снова вспыхивала его трубка, и Саше казалось, что она горит огоньком надежды и нетерпенья. Он ждал утра - и это было хорошо.

Но все, что он делал, он делал сурово, сердито, неприветливо.

- Когда ты вернешься? - спрашивала Саша.

- Право, не знаю, - отвечал Митя.

"Право, не знаю" - это можно сказать ласково, а можно сердито. Он говорил сердито. А бывало так:

- - Хорошо съездил?

- Обыкновенно.

А иногда вместо ответа он говорил:

- Я работаю, пожалуйста, не мешай.

Я все могу, когда меня любят, - думала Саша, - но когда меня не любят, я не могу ничего. Он не должен, не смеет так отвечать. Я никому, даже чужому так не отвечу. А мне ведь тоже бывает не сладко.

Однажды вечером купали Катю. Она лежала в корыте, вытаращив глаза и несмело дрыгая худыми ногами. И вдруг открылась дверь, из сеней пахнуло холодом. Аня с Дружком вбежали в комнату. Шапка у Ани съехала на затылок, в комнате то ли от Аниного свалывшегося воротника, то ли от Дружка запахло псиной.

- Закрой же дверь! - сказал Митя, загораживая собою корыто. - Аня, ты что, оглохла?

- Сам ты оглох! - ответила Аня.

- Это она верно заметила! - сказал Митя. - Так мне, глухому дураку, и надо.

- Она не хотела тебя обидеть, она просто повторила твои слова, произнесла Саша.

- Я понимаю, - ответил он и сам закрыл дверь. Вечером, когда сидели за столом, Аня потянулась за хлебом и опрокинула пиалу с похлебкой.

Эх, Анюта, руки твои крюки! - сказал Митя.

Всем известно, как за мачехой-то жить: перевернешься - бита и недовернешься - бита! - промолвила Аня, глядя на Митю исподлобья,

И вдруг лицо его дрогнуло и стало лицом прежнего, нет, еще лучшего Мити. Губы его были крепко сжаты, но глаза, смотревшие, как Анины глаза, исподлобья, вдруг улыбнулись.

- Эх ты, дурак, дурак! - сказал он Ане и взъерошил здоровой рукой ее волосы.

Что же в тебе? - подумала Саша, радуясь этому прежнему лицу, этому взгляду. - Какой же ты? Кто ты?

"Вот бывает, - писала Саша, - смотришь в озеро - и видишь дно. Так бывает и с книгами - хорошая книга, прозрачная, чистая, дно видишь. И с человеком - хороший, ясный, и все про него знаешь, видишь дно. А бывают такие озера, книги и люди, где дна не видишь, его будто нет. И сколько ни гляди, сколько ни пробуй, - нет и нет.

И как я в него ни вглядываюсь - моим глазам он не дается. Все глубже, глубже, уж захлебываюсь. А дна нет. Что же он - бездонный? И я никогда не научусь его понимать?"

Проснувшись ночью, Саша увидела, что он сидит за столом, перелистывая детский дневник.

- Митя, - позвала она шепотом.

Он взглянул на нее, ничего не ответил и отодвинул тетрадку в сторону. Потом набил трубку табаком и молча вышел из комнаты.

Она приподнялась, не вставая, потянула тетрадку к себе и прочитала свою вчерашнюю запись:

"Плохо мне. Но почему же я так бегу с работы домой? Почему так радуюсь, когда он возвращается? Чего же я хочу, чего мне надо? Может, и у других, как у нас. Но я-то знаю, знаю, что бывает иначе. Нет, об этом думать нельзя. Людей не сравнивают..."

Она схватила платье, кое-как натянула его на себя, сунула босые ноги в туфли и, открыв двери на улицу, столкнулась с Митей.

- Куда ты на ночь глядя? - спросил он спокойно.

- Митя, я хочу сказать тебе...

- Не надо ничего объяснять. Я сам виноват, незачем было совать нос куда не следовало. :

- Нет, это и твой дневник. Я рада, что ты прочитал, послушай...

- Я не хочу слушать. Заворочалась во сне Аня.

- Грехи наши тяжкие, - пробормотала Анисья Матвеевна и сквозь длинный зевок сказала ворчливо:

- Тушили бы, что ли, свет, полуночники...

- Мы мешаем, - сказал Митя, - ложись. Стиснув зубы, Саша снова легла. Митя погасил лампу и

Долго еще сидел в темноте неподвижно, будто каменный.

- Это ты? Это ты? - повторяла Саша, глядя на брата, не смея опомниться, не смея понять, что это и в самом деле он.

Она протянула руку к Лешиному лицу. Высокий, широкоплечий, совсем не похож на того, что уезжал в Мелитополь, махая пилоткой из окна уходящего поезда.

Он был чисто выбрит, - а как недавно еще над ним смеялись, когда он хватал отцовскую бритву и пытался скрести по своим румяным щекам и над верхней губой, где не было и признака усов.

У него стали такие большие руки, даже руки стали не Лешины. На нем была шинель, она пахла сыростью, дорогой; наверно, так пахнут все солдатские шинели.

Он прилетел в Ташкент, чтоб повидаться с сестрой. Здесь ремонтировались моторы, и Леша приехал за ними. Конечно, за ними мог - и должен был! приехать другой человек, но Леша повалился-таки в ногах у начальства! Ребята говорили, что сестра - это недостаточное основание. Лучше - невеста. Леша приплел и невесту и добился своего: он тут. В тылу. В глубоком тылу. Поглядишь в окошко, а там обыкновенный двор, по двору ходит петух, а у

сарая лежит чудное топливо - саксаул.

А перед ним - сестренка, Саша. И племянница Аня. И незнакомая девочка Катя - тоже зовется племянница. И деверь, или шурин, одним словом - Митя. Не Поливанов, а вот именно - Митя, бывший военный, демобилизованный фронтовик.

В глазах сестры спряталось незнакомое прежде выражение - то ли тревоги, то ли строгости. Саша похудела, лицо стало, может, и красивее, да только это новое, не Сашино

Лицо. Новые усталые глаза пронзили Лешу - так они были привычны на этом лице.

Вот эта выросшая похудевшая девочка - Аня. Коротко остриженная, некрасивая. Длинноногая, худые руки торчат из рукавов платья.

До чего же она км гордилась! Бегала по тупику и объясняла всем: "Это мой дядя! Дядя Леша! Он летчик!"

И мальчишеские незнакомые лица лепились носами к оконному стеклу и завистливо глядели на летчика, на Аниного дядю.

А Митя - как он его встретил! Нескончаемы были их вечерние разговоры, нескончаемы Митины жадные расспросы. Они говорили только об одном - о фронте.

Подперев кулаком щеку, сидела против них Анисья Матвеевна. Она очень уважала Лешу и все время одобрительно покачивала головой. Напряженно вслушиваясь, не решаясь вмешаться, тихо перемывала тарелки Саша. Приоткрыв рот, переводя глаза с Мити на Лешу, молчала Аня. И только Катя не уважала мужских разговоров, она сидела в коляске, таращила черные глаза и кричала свое:

- Дай-дай-дай! И чего ей нужно было - дядю? Маму? Нет, белого хлеба! Сахару! И когда Леша протянул ей белую корку, она цепко схватила его за палец и одарила широчайшей улыбкой.

- Садись! - сказала Аня и потянула Лешу за гимнастерку. - Ну ее. Она еще ничего не понимает!

Леша высвободил палец, посадил Аню к себе на колени, и она крепко прижалась к нему. Ну что ж. Это был дом, семья. Это была Саша, по которой он скучал и которую так хотел увидеть. Он хотел увидеть ее и увериться, что ей хорошо.

Но ему не стало спокойнее, когда он ее увидел. Нет, не стало. Что верно, то верно: они сыты, у них тепло. Катя забавная. Анисья Матвеевна заботлива, как мать. Так что же его мучит? Какая-то тень лежит на Сашином лице, какая-то неясная тревога глядит из ее глаз...

На третий день он пошел провожать Сашу на работу. Они шли и молчали. И вдруг Леша решился.

- Что с тобой? - спросил он. - Ну не в прятки же нам играть? - сказал он, не дождавись ответа. - Я же всегда тебе все говорил. И когда в Тамару влюбился, и когда с Антоном поссорился... и вообще... Ну, чего ты молчишь?

- А что мне говорить? Я и сама не знаю. Митя... Видишь ли... Ну как тебе сказать?... Я не знаю, как сделать, чтобы ему стало хорошо... Ну, легче... Вот ты приехал. Он с тобой разговаривает, спрашивает, рассказывает. Я гляжу - и узнаю московского Митю. А со мной... Он почти ничего не рассказывает. Он молчит. Иногда мне даже кажется...

- Нет, нет! - перебил ее Леша. - Это ты выдумала, ты просто ничего не понимаешь. Ну как тебе объяснить...

- Нет, это ты не понимаешь. Вот ты приехал. Ты тоже изменился, ты так изменился, что я прямо не знаю... Но ведь ты все-таки тот же самый, что и был, нам с тобой легко. Ты...

- Вот-вот, сама и ответила! - с торжеством сказал Леша. - Я здесь два дня и уже не дышу! Ну, как бы тебе объяснить? Я приехал на время, а он вернулся... навсегда. Он... как бы тебе сказать? Он выбыл... Из дела выбыл, понимаешь? Ну, конечно, здесь хоть и тыл, а тоже дело, и как пишут в газетах, и тут победа куется. Каждому ясно, ну что тут агитировать? А все равно такому, как он, это зарез. Он привык, чтоб в самой гуще. Это уж такой характер. И до войны - ну, вспомни! Чуть что - Поливанов! Он сильный!

- Ну, если сильный, - сказала Саша, - значит, и здесь и всюду должен быть сильный. Всегда.

Леша остановился.

- А как ты скажешь: что скорее сломается - лоза или дуб?

- Знаешь, - сказала Саша, - ты стал говорить чересчур красиво. Лоза, дуб... Митя - не лоза, не дуб. Он человек, и если он сильный - так сильный всегда. А может, ты прав, он сильный. А слабая - я. И я ему товарищем быть не могу. А, Саша.

- Вранье! - сказал Леша. - Вранье, вот и все. Я тебе про вас ничего объяснить не могу. Я про это не знаю. Про вас двоих - не знаю. А про него знаю: сегодня война, сегодня это самое главное - и я хочу там жить, там, если надо, и умереть. Там у нас легче. А здесь... тяжело. Не могу тебе объяснить. Я бы здесь спятил. Там каждый для товарища рубашку с себя снимет, последний табак отдаст. Да что рубашка, что табак?.. Жизнь отдаст за товарища. А здесь... Да я на вашу хозяйку поглядел - сразу удавиться охота... Кадка с капустой... Ну их к чертовой матери! Я вот на рынке был, Ане орехи покупал. Сидит толстый, рыхлый, рубль - орех. Ну, знаю, знаю, есть и другое, да ведь сверху-то, на виду это! И беспомощность... Сил у него много, а куда девать? Вот и мается. Мой тебе совет - пожалей ты его... Если можешь. Если любишь... Просто люби и жди. Вот тебе мое честное слово.

Я не могу! - упрямо и горько ответила

- Тогда плохо дело...

С минуту они шли молча.

- Ладно, - сказала Саша, - иди домой, побудь с ним.

Леша поцеловал сестру, поглядел ей вслед и повернул домой. Шел озабоченно, непривычно тихо. И вдруг подумал о том, что и у него когда-либо будет жена... Жена - какое странное слово. А что это значит? Это значит ухаживать больше не надо. Договорились: давай поженимся - и поженились. А что же дальше? Дальше... И вдруг Леша ускорил шаг. Нет, нет, никогда моя жена не пойдет вот так, опустив голову, как Саша. Никогда ей не будет печально рядом со мной. А что надо будет сказать, - мне и скажет. Мне одному, только мне...

Неужели и у него, у Леши, тоже будут жена и дети? Леша зашагал еще быстрее. Ему вдруг захотелось запеть. Он поглядел вокруг - люди! И не запел.

Дома его ждал Митя. Внимательно, испытующе посмотрел в лицо, опустил глаза. Перед ним на столе лежали фотографии, подписи к ним. И вдруг он снова поднял глаза и сказал:

- Садись. Няня, чайку бы.

- Чайку? - удивился Леша и, подмигнув Мите, достал из рюкзака заветную флягу.

Поливанов давно не пил. Но еще до того, как Леша налил в стакан, еще только услышав

запах самогона, Поливанов вдруг забыл, что он в Ташкенте. Все, все всколыхнулось в нем: первые дни фронта, первый вылет на партизанскую землю. Он снова почувствовал, как вздрагивает самолет, отчетливо услышал разрывы, увидел ярко-красные сердцевины в черных клубах и почуял запах порохового газа. Вспомнил землянку, залитую водой, и чавканье грязи под сапогами. Он снова лежал на снегу в поле и снова окровавил руки о немецкую проволоку...

- Ты что застыл? Ты пей! - услышал он Лешин голос. - Так вот, Колька Юрченко владел бредущим полетом, как никто. Он, бывало, прижимал машину к земле метров на пять. Глаза у него вечно были воспаленные - из-за этого некоторые думали, что он трус. Но я тебя уверяю: не трус. Я с ним летал. И однажды он предложил таранить. Это не каждый предложит, могу тебя уверить, могу за это поручиться: трус таранить не предложит. И еще у него была замечательная черта - не признавал суеверий. Плев л на черную кошку. И потом была у нас такая девушка несчастная - кто с ней потанцует, тот из полета не возвращается. А он с ней танцевал - и ничего.

Беззащитное существо человек, - думал Поливанов, слушая Лешу, держишься, держишься, а потом запах какого-то несчастного самогона все в тебе растравил, и ты не можешь больше держаться в узде... Что он там говорит?

- Понимаешь, - говорил Леша, - стояли мы под Воронежем, ходили на задание почти без прикрытия. За две-три недели стали, как у нас говорят, безлошадниками. Ну, посадили остатки полка в теплушки - и в Сибирь. Переучиваемся на новых самолетах.

- Что за машины?

- Больше новой марки. Есть и от союзников.

- Хороши? - спросил Поливанов.

- Неплохие. Но вооружение никуда, ставим свое. А вообще машин пока мало. Наш маршевый полк на первой очереди, но сформируемся к зиме, не раньше.

- Долгонько.

- А что тут сделаешь? Конечно, сил нет дожидаться. Сам знаешь, как сейчас на Южном.

- А что, надеетесь туда?

- Надеемся...

- А я ведь там был, на Южном. Когда еще к Днепру отступали, снимал для хроники истребителей... Эх, Лешка!..

Нет, не надо ничего в себе размораживать, ничего не надо вспоминать. Ведь решил: баста, похоронено, почему же все снова поднялось со дна души и так же болит, и так же не дает покоя?

- Митя, ты что не отвечаешь? Я спрашиваю - ты почему так долго из госпиталя не писал? Саша извелась.

- Неизвестно было, чем кончится: не буду ли калекой.

- Здравствуй! А если бы калекой - не объявился бы?

- Не объявился.



- Ну, знаешь... Значит, если Сашу покалечит, она должна бежать из дому?

- Я мужчина.

Леша хотел сказать: "Ты баба", но сказал:

- Не пойму я тебя. Давай лучше стакан, налью.

- Налей. А знаешь, как сказала одна женщина моему приятелю? "Я тебя люблю. Но имей в виду, покалеченный, изуродованный ты мне не нужен". Так и сказала. Со всей, как говорится, прямоотой.

- И такую дрянь ты равняешь с Сашей?

- Потихе, не шуми. Я Сашу знаю, не беспокойся. Но я не привык искать помощи. Я...

- Ты, ты... - с грустью сказал Леша.

И тут Митю прорвало. Он рассказывал - и клял себя, что рассказывает, вспоминал - и клял себя, что вспоминает вслух.

- Наш брат, кинооператор, часто ходил в боевые вылеты, но на штурмовике пассажиром не полетишь. А мне здорово хотелось. Пришлось изучить пулеметную установку на ИЛ-втором. Ну, попотел, изучил это дело.

- С твоей головой не так уж трудно.

- Да, с моей головой... Одним словом, превзошел. Меня учил толковый парень, он уважал кино, видел какую-то мою хронику и учил меня всюю. К тому же эскадрилья таяла, каждый человек был на счету, ну, тут и кинокорреспондент сгодился, взяли меня на штурмовик воздушным стрелком. Стал я летать с Сергеем Болотинным, - не попадался тебе такой? Под самый Новый год мы получили задание на разведку. Надо было узнать, не подбрасывают ли немцы танки. Сергей просмотрел маршрут, все сообразил. Взлетели. Видимость была хорошая.

Поливанов рассказывал, и ему казалось, что рассказывает не он, а кто-то другой. Слова ему не повиновались. Что это значит "видимость хорошая"? Он помнил до мелочи все, что видел в ту минуту: дорога, кухня, немцы стоят в очереди с котелками. Все как на ладони - лицо, котелок, автомат. А когда летели назад, увидели железнодорожную станцию и штук восемь автобусов.

- Такой цели Сергей пропустить не мог, сам понимаешь... И так мы вошли в азарт - четвертый заход, пятый, Сергей в развороте, - я по ним стреляю. И в горячке перестали следить за воздухом. И вдруг в хвосте - "мессер". Сам знаешь, где один "мессер", там и второй. Один "мессер" дал по кабине, другой повторил. Скорость гаснет, до земли метров семьдесят. И прыгать уже нельзя... Бац!

Поливанов снова, как тогда, услышал голос Сергея: "Помоги!", услышал запах гари - горела кабина, горели унты. Хвост придавил кабину, Поливанов сорвал колпак, вскочил на крыло. Он отстегнул ремни, вытащил Сергея, а к ним уже бежали немцы. Самолет упал прямо в расположение немецкой танковой части, на брюхе подъехал к самому караульному помещению.

Поливанов рассказывал, держа в руках стакан. Он больше не пил, ему хотелось рассказать все как можно точнее. Он говорил:

- Вот так мы попали в плен... - и видел немца, который их обыскивал; немец испачкал руки в

крови и вытер и об белый свитер Сергея.

И этот белый свитер с отпечатками крючковатых красных пальцев все стоял у него перед глазами и мешал, как мешают кости, застрявшие в горле. Самое трудное было рас

Сказать про машину. Их вез в машине жандарм. У него в руках был автомат, он направил его в грудь Сергею. У шофера - меховой воротник, ножом не пробьешь (в унтах остался кинжал, при обыске не нашли), да и кабина маленькая, не размахнешься. Поливанов думал тогда: я ударю, жандарм даст очередь - и прямо в Сергея. Если автомат взведен, а он наверняка взведен. Иначе зачем бы жандарм держал его на изготовку? Минута была упущена, - он и сейчас вспоминал об этом, презирая себя, - он упустил минуту: навстречу патруль, парный патруль, и еще, и еще! Выехали на поляну, к освещенному зданию. И тут, у крыльца, жандарм ухмыльнулся в лицо Поливанову: отсоединил от автомата магазин - патронов в магазине не было. Поливанов все это пережил и увидел вновь, а Леше сказал так:

- Потом нас привели в штаб. Там уже встречали Новый год - орали песни, топали. - "А если опрокинуть стол? Если ударить по лампе?" - подумал он тогда. - Потом нас отвели в сарай...

Часовой сидел на пороге, отложив винтовку в сторону. Он вошел в сарай вместе с Поливановым и Сергеем и так же лениво, как прежде, сел в угол. И вдруг, встретившись с Поливановым глазами, вскочил, схватил винтовку и встал у дверей с озверевшим лицом. Поливанов увидел себя в этом лице, как в зеркале.

- Мы лежали с Сергеем, молчали и думали про одно."

- Бежать?

- Бежать. Понимаешь, ни сговориться, ни сообразить вслух - ничего.

Поливанов умолк. Леша в сумерках видел заострившееся лицо, желваки на скулах. Смотрел и мучился за него, не зная, как помочь ему договорить. А Поливанов тоже не знал, как говорить о том, что было дальше. К вечеру вошел пьяный офицер - у него были злые шустрые глазки, уши, как лопухи. Он долго водил пистолетом по Митиному затылку и сопел над ухом. Потом ушел. А Поливанов все время думал об одном: в магазине не было патронов. И у шофера не было оружия. А он упустил минуту. Оттуда, где пировали немцы, слышалась музыка. И вдруг рояль умолк, и кто-то завел пластинку. Стало трудно дышать это был вальс из "Огней большого города". Поливанов стиснул зубы и, закрыв глаза, увидел московскую улицу, мокрый асфальт, ощутил тепло Сашиной руки в своей руке. Кто-то заводил пластинку вновь и вновь - это был удар из-за угла, от него Поливанов не успел защититься. Лежа на земляном полу рядом с Сергеем, он вспоминал нот эту ташкентскую комнату и спящую Сашу, следы слез на ее щеках и потом ее сонный голос: "Но ведь это не правда..."

- Не скажу тебе, сколько времени прошло, - заговорил Митя наконец. Только часовой вдруг встал, выше ли защелкнул замок снаружи. Мы услышали, как он потопал куда-то. Чуть подождали - никого нет. Раздумывать было некогда, я выломал две доски в стене, и мы вылезли. Верхнюю одежду оставили - ползли в одном белье, на снегу не так заметно. Сергею было трудно, в плече засела пуля, потерял много крови. Но сам понимаешь, выхода не было - либо пан, либо пропал. В какую сторону ползти, - Сергей понимал. Он много летал над этими местами. Ползли мы вдоль торфяного болота. Так вдоль болота мы к рассвету доползли до хутора. Смотрю, окно чуть светится. Рискнули - постучали. Повезло, свои люди. Дед такой сивый - обогрел, накормил и дал вот этой самогонки твоей. Да...Передохнули и опять поползли. До линии фронта было с десяток километров...

Когда переползали ручей, подломился лед. Поливанов взял Сергея и потащил. Белье обмерзло, затвердело. Еще метр, еще...

- Что долго рассказывать - на третий день были у своих. Отвели нас в штаб одного пехотного полка. И тут началась проверка. Сергея сразу положили в госпиталь, там ид опрос снимали. Ну, я своим чередом все рассказал, а мне: ничто не может заставить офицера Красной Армии сдаться в плен. Но мы же не сдались! Лешка, ты-то понимаешь? Я выскочил и первое, что сделал, - вытащил Сергея, он бы сгорел в кабине. Обернулся - мы в кольце...

Лучше бы не вспоминать. Все это было, как подо льдом. Пусть бы так и осталось. Зачем ворошить? А разве ты ворошишь? Ты это всегда помнишь. И лицо того, кто допрашивал, и его голос: "Скажи, чего ты наобещал немцам? Если бы ты не подписал никакой бумаги, тебя бы не выпустили". - "Нас не выпустили, мы бежали". - "Если не признаешься, закатаем тебя..."

- На третий день я отказался отвечать ему. Я просто молчал. Это продолжалось два месяца. Потом приехали из Политуправления, установили мою личность и выпустили. А потом было сказано: "Все в порядке, к вам никаких претензий, но плен есть плен. Мы бы предложили вам пока поработать в тылу". Нет, это уж спасибо. Подал рапорт, чтобы отправили в часть. И стал я пехотным командиром взвода. Не успел толком со взводом познакомиться контузия. И вот демобилизовали. Вчистую. Мне уже туда не вернуться. Понимаешь? Не вернуться. А мне надо быть там. Только там. А я здесь. Вот так бесславно и кончилась моя война. Сижу здесь, как тыловая крыса.

- Не повезло. Ничего не скажешь - не повезло тебе. А где твой летчик?

- У него дело лучше пошло. Вылечили - и в своем полку летает. Может, и Героя уже получил...

Ну вот он и выложил все. Но он-то знал, что главное осталось за пределами его рассказа. Главное - тот голос: "Что ты наобещал немцам?" Главное - вежливые слова в Политуправлении: "У нас нет к вам никаких претензий, но плен есть плен". Он знал - был только один способ разделаться с этим: вернуться в строй не с киноаппаратом в руках - стрелком-радистом, в пехоте, как угодно, но только быть со всеми до конца. Не вышло.

Расскажи он и это, он бы рассказал почти все. Теперь он знал наверняка, что рассказывать не нужно. Это не приносит облегчения. Слова не подчиняются, не повинуются, все, что ты думал, все, что хотел сказать, так и не облеклось в слово, все осталось с тобой и давит тебя по-прежнему. Или теперь полегче? Или это только кажется?

Саша застала Митю и Лешу в полной темноте, Она зажгла огонь - в комнате стоял дым столбом, на блюде - гора окурков.

...А на следующий день они провожали Лешу. Еще совсем недавно, мальчишкой, он стоял рядом со своим мелитопольским поездом и, впервые уезжая из дому, глядел на всех чуть испугано - такой неуклюжий, долговязый и нескладный. А теперь пилотка лихо сидит на круглой, коротко остриженной голове. Сияет наутюженный Анисьей Матвеевной и пришитый Сашей подворотничок. И молодое лицо стало тверже, уверенней, и забота на нем другая. Саша старалась не смотреть на Митю, ей было страшно. Лишь раз мельком взглянула на его злое лицо - и отвела глаза.

Поезд тронулся. Саша пошла следом, ловя глазами улыбку брата. И вдруг сквозь стук колес, сквозь топот других бегущих ног она отчетливо услышала, вернее, угадала знакомый шаг - это был Митя. Он взял ее за руку. Не стало поезда, не стало толпы.

Они медленно шли по улице. Губы его были крепко сжаты. Саша шла рядом с ним и думала: "Сейчас я скажу все, как велел Леша, скажу ему, что все понимаю. Что люблю и все, все понимаю. И нам сразу станет легко - и мне и ему. Я буду ему товарищем, опорой и никогда больше не стану обижаться. Ведь я и в самом деле все поняла. Вот сейчас..."

И вдруг он остановился и настороженно глянул ей прямо в глаза.

- Ну, скажи правду: жаловалась? Саша не отвела глаз.

- Жаловалась, - ответила она тихо. И отняла руку.

- Эх, бабье, куриный народ, - сказал Митя вскоре после возвращения с фронта. - Как же можно без карты?

Он склеил ее из каких-то обрывков, вырезал флажки из бумаги, попросил Зою, чтобы в школе она окунула их в красные чернила. Смастерил из проволоки что-то вроде булавок и каждый вечер, слушая последнюю сводку, стоял перед картой - он повесил ее на стене. Движение флажков на карте вызывало на его лице гримасу злости или улыбку. Митя сдвинул брови - значит, потери велики. Заблестели глаза - значит, мы продвинулись вперед. Если красный флажок продвигался вперед - это значило, что сегодня вечером, посадив на колени Аню, он будет читать ей вслух или рассказывать что-нибудь про белого медвежонка, которого приручил когда-то, про дельфинов в море, про пингвиний детский сад.

Флажки были как маленькие огоньки, и они очень нравились Ане.

- Мама, а я люблю такие флажки! - как-то осторожно сказала она.

И вот однажды, когда Анисья Матвеевна была занята Катей, Аня долго бродила по комнате (на улице хлестал дождь, а калаш не было). Она подошла к карте и отколола один флажок, тот, что был пониже. Оглянулась - Анисья Матвеевна поила Катю молоком. Аня отколола второй флажок. Потом третий. И вот уже, забравшись на табуретку, она снимает с карты один флажок за другим. До чего много! Целая куча флажков! И медленно, осторожно, чтоб не помять их, сползает с табуретки и садится за стол. Она немножко поиграет ими, а потом отдаст Мите. Она раскладывает перед собой флажки, потом выстраивает их в ряд, потом украшает ими спичечную коробку, разговаривает с ними. Флажки ожили, они отвечают ей, они спорят, меняются с ней стеклышками. Флажки есть худые и толстые, длинные и покороче, вот этот - с пятнышком, у этого оборван уголок.

Дверь открылась, в комнату вошли Митя и Саша. Они разделись, Саша взяла Катю, а Митя, который только что слушал на улице вечернюю сводку, подошел к карте.

- Где флажки? - сказал он, не оглядываясь. - Что за черт?

Аня притихла у стола. Оглянувшись, Митя увидел Анины расширенные глаза, потом флажки.

- Нет, это черт знает что! - сказал он. - Мало того, что в доме нет газет, мало того, что...

Он сгреб флажки, оцарапал себе руку. Закусив губу, сдвинув брови, он подошел к карте и, каменный от молчаливого гнева, стал водворять флажки на прежние места. Аня совсем притихла. Ужинали в молчании, а потом, когда поели, видно желая загладить свою вину и проморить, сильно ли сердится Митя, Аня подошла к нему и попросила:

- Почитай мне, Митя.

Он молчал.

Тяжело вздохнув, она сказала:

Он не ответил.

- Я больше не буду! - сказала она с отчаянием. Ответа не было.

- Ну-у, Митя! - протянула Аня.

Он резко повел плечом, встал и отошел к окну. Даже его спина говорила: "Не прощу. Отстань! Бабье, куриный народ".

Саша смотрела на него - большого, широкоплечего. И на Аню - маленькую, худую, в линялом фланелевом платишке. Прядь светлых волос свешивалась на лоб, а губы были как ниточки, она их крепко стиснула. От обиды? Чтоб не заплакать?

- Митя! - сказала Саша. - Пойдем погуляем.

- На улице дождь, - ответил он, не оборачиваясь, - какое гулянье!

- Мне надо с тобой поговорить, - тихо ответила она, но голос ее звучал повелительно.

Он посмотрел на нес пристально, с удивлением и молча подал ей пальто.

Хлестал дождь. Они шли по улице молча. Наконец он спросил:

- Ты, кажется, хотела что-то сказать?

- Хотела. И скажу. Я думаю, не стоило бы тебе срывать свою злость на девчонке. Ты военный. Солдат. А она... не стыдно тебе?

Она почуяла, что он сжался, плечо и рука рядом словно одеревенели. Она продолжала безжалостно:

- Я думала, ты любишь ее...

- Люблю, - сквозь зубы ответил Митя.

- Так не любят.

- А где это сказано, как надо любить? Она продолжала, не слушая:

\*\*\*

- Так не любят. Когда любят - прощают, когда любят - жалеют. И не молчат. Не копят обиды. Мы с Юлей - мы никогда не ссорились. А почему? Мы никогда ничего не держали за пазухой, мы сразу говорили, если...

- "Мы с Юлей", - сказал он. - Ох уж этот детский сад. Вы с Юлей!

- И... и с Лешей тоже, - она не посмела сказать "с Андреем". - Нельзя молчать, когда любишь.

- О да, вы специалисты в области чувств - и ты, и Юля, и особенно Леша. Боже мой, почему это дети и женщины так любят выяснять отношения?

- Не смей так разговаривать со мной, - Саша остановилась. - Я могу плохо сказать, могу бестолково сказать, пускай я глупая, но я правду говорю. Скажи, разве у нас с тобой сейчас так, как прежде? Как должно быть?

- А разве мы прежние? - тихо сказал он.

- Я - такая же, как была, - ответила Саша с отчаянием, - а ты - вот ты действительно другой. И я вижу, до тебя не достучишься.

- Скажи, у Москвина был хороший характер?

До сих пор он говорил сухо. Сейчас в его голосе прозвучало бешенство.

- У Андрея? - Похолодев, Саша остановилась, провела рукой по глазам. Да, хороший.

- А у меня плохой. Отвратительный. И я должен был сказать тебе об этом давно. Потому что...

Но она уже не слышала. Ступая по лужам, не замечая дождя, она почти бежала к дому.

...Ночью, прижавшись щекой к подушке, Саша думала о том, что случилось. Сейчас пойму, - говорила она себе, крепко закрыв глаза. А что тут понимать? Все ясно, надо только заставить себя поглядеть правде в лицо.

Дождь стучит в окна. Сквозь мгновенный хрупкий сон Саша вновь и вновь слышит неприязненный голос. От горя она просыпается и чувствует: Митя не спит. Они лежат рядом,

Затаившись, боясь шевельнуться. Одиночество - страшное слово. Оно горько, когда человек один. Теперь она знает: одиночество вдвоем - горше всего. Тут не помогут ни слова, ни объяснения. Не проломить эту стену, выросшую между двумя людьми, ни боли, ни слезам. Как же это случается? Как это случилось у них? Раньше не то что слово улыбка, взгляд все было дорого и понятно. А сейчас - кричи, молчи, умри, а сердце в ответ не тронется.

"Не любит, не любит, не любит", - повторяла про себя Саша.

И вдруг рядом тихо сказали:

- Люблю. - Горячее дыхание обожгло ей щеку. - Как же ты этого не понимаешь, не слышишь?

Митины губы прикоснулись к Сашиней руке. Она не смела откликнуться. Ведь так бывало уже, и не раз: темный день, молчание, а потом ночь - и вновь тепло, которое позволяло жить дальше, верить и ждать. А наутро все то же" И все тише и глуше становился Сашин отклик, и все меньше запасы доверия и щедрости. И в ответ на движение руки, на слово "люблю" - только боль.

И Митя почувствовал это - как раньше, когда все слышал в ней и угадывал. И с проникновением, которое одно только переворачивает душу, пришли единственные слова, те единственные, которые помогли бы ей понять и простить:

- Мне очень плохо. Поверь, если можешь. Перетерпи, если можешь. Худо мне, понимаешь? Милая моя... Что бы я был без тебя?

И она услышала, и осталась рядом, и простила, как оставалась постоянно, как прощала прежде. Она забыла потому, что нужно было забыть... До следующего удара, до новой обиды и горечи.

- Мама, Сережа говорит, что Митя мой папа. А я ему объяснила, что он Митя, а не папа.

- Мама, Сережа меня стукнул!

- Ты сама его ударила...В глазах слезы:

- Ты меня совсем не жалеешь. Одну только Катюку жалеешь, а больше никого...

Анюта планет по каждому поводу и без повода. Уронила хлеб - плачет. Оступилась - упасть не упала, только оступилась - плачет. Не сразу ответили ей на вопрос - в слезы. Раньше этого не было.

- Моя мама, моя... И Катина, и Катина...

- Мама, ты меня любишь?

- Очень.

- А почему же все время смотришь на Катеньку?

Увидела, как Митя, лаская Катю, поцеловал ее в лоб. Только он ушел, Анюта мне:

- Мама, поцелуй меня в лоб! - И чуть погодя:

- Нет, Митя меня не любит. Он одну Катюку любит.

Анюта:

Лети, лети, лепесток, Через Запад на Восток, Через Север, через Юг, Возвращайся, сделав круг, Облети вокруг земли, Быть по-моему вели.

Вели, чтоб Катя скорее выросла и чтоб кончилась война!"

На Аню не стало никакой управы. Анисья Матвеевна была занята хозяйством и Катей. Саша и Митя работали. Аню тоже целиком поглотил тупик, их маленькая улица, похожая на большой московский двор.

Чем они были там заняты, что было их жизнью - Бог весть!

Их было много - москвичи, ленинградцы, местные. Были у них свои тайны, свои ссоры и примирения. Аня приходила домой только поесть. Она вся была там - за порогом. Однажды Саша взялась приводить в порядок Анино пальто пришивала пуговицы, положила заплату на воротник, и вдруг из кармана посыпались разноцветные стеклышки.

- Это я выменяла. Я дала три фантика, а Валька мне вот это, розовое. Посмотри в него, мама, все будет розовое. Красиво, да?

- Ты больше так не делай, - неуверенно сказала Саша, - меняться нехорошо.

- А почему?

- Потому что нехорошо! - ответила Саша.

- А почему? - снова спросила Аня. Да, почему, почему? Саша каждый день говорила Ане:

"Вычисти зубы... вытри ноги... не шуми... не трогай Катю грязными руками!" Но у них давно уже не было своих, прежних долгих разговоров обо всем на свете, и Саше казалось, что она растеряла все слова. И она подумала: как, наверно, Ане скучно слушать про зубы, руки и ногти - каждый день одно и то же! Ну, а как же быть? Что делать? И времени нет, и души свободной нет!

Иногда это болело, как укор. Когда Саша шла через весь город на работу, ей вспоминалось: давно она не сидела у меня на коленях. Вчера она подошла, а тут закричала Катя. И опять было не до нее. А утром сегодня, когда я кормила Катю, как она подошла, как беззлобно, как нежно, с каким восторгом гладила Катину головку: "Мама, она красивая, да? Правда, она красивая?"

Бегут, бегут мимо улицы, вот и больница. Дом отступает. Вот они, новые - мальчик, - кто и откуда? Не важно! Он - ее. Вот девочка Валя - чья она? Не важно. Четвертый день она лежит и не ест. Саша терпеливо поит ее с ложечки. Но она выплевывает, захлебывается. Саша поит ее из пипетки, по капле. А за спиной зовут, стонут, плачут другие дети.

Говорят про трамвай, что он - не резиновый. Но, видно, сердце у человека резиновое. Сколько их было тут - и каждому сердце отзывалось.

Девочка стала такой худой, что Саша с опаской поднимала ее над кроватью, чтоб перестелить простынку. Когда Валя засыпала, Саша прислушивалась - дышит ли. Шарафат два раза давала девочке кровь для переливания, но даже эта молодая живая кровь не могла вернуть ей силы.

Синие десны. Беспомощный оскал зубов. Желтоватые белки. Серая бескровная рука на больничном сером одеяле. "Жива ли?" - думала Саша, подходя к ней каждое утро. Ее встречал бессмысленный, остановившийся взгляд. И вот однажды она пришла, а кроватка была пуста. Это случилось ночью. "И я еще смею, я смею, я смею, - говорила себе Саша, - смею на что-то жаловаться, о чем-то горевать? Вот оно - горе, единственное, непоправимое". Ей все казалось, нет, она была уверена, что ребенка можно было спасти. Но что же, что все они упустили? Она не знала.

Возвратилась домой, не здороваясь, перешагнула порог, сняла пальто и вымыла руки. Катя гулькала, Аня гремела над ней погремушками. Мити не было.

И вдруг дверь распахнулась, на пороге стояла хозяйка.

- А ну, поди сюда, - сказала она Аняте, - а ну, погляди мне в глаза! Нет, ты глаз своих бесстыжих не отводи, ты признавайся!

- Что она сделала? - спросила Саша.

- А вы у ней спросите! Ну и мать! Ну и семья! Да я пироги нарочно пересчитала, а она, гляжу, все вертится, все вертится!

- Не брала, не брала я вашего пирога! - виновато, голосом, привыкшим оправдываться, закричала Аня. - И не заходила я даже на кухню! 1

- Ага, знаешь, что на кухне стоят?

- Аня, это правда? - спросила Саша.

- И совсем даже не правда! - Аня плакала в голос.

- Мама, это я взяла! - В комнату вошла Зоя. - Это я взяла.

И, взглянув на нее, Саша поняла, что пирожок взяла Аня.

- Уйдите! - сказала она хозяйке. - И ты, Зоя, уйди! Саша чуть не вытолкнула Зою за дверь. Обернулась к дочери и стала трясти ее за плечи:

- Скажи, признавайся, лучше будет!

Ослепнув от бешенства, Саша плохо различала Анино побелевшее, перекосившееся лицо.

- Говори, отвечай! Украла?

- Не скажу! - говорила Аня. - А вот не скажу!

И тут Саша ударила ее. Ударила, увидела остановившиеся Анины глаза и ударила еще раз. Аня молчала. И вдруг вырвалась, крикнула:

- Не люблю я тебя! - и выбежала в сени.



Прошел час, а может, и больше. Саша умыла лицо холодной водой, покормила Катю, молча села к столу. И, склонившись над супом, который налила ей Анисья Матвеевна, сказала:

- Позовите ее.

- А ее тут нет, - ответила Анисья Матвеевна, - я уж искала...

- Как нет? Она же без пальто! - отодвигая тарелку, сказала Саша.

- А я уж Дмитрия послала, уж с полчаса, как Дмитрия послала! ответила Анисья Матвеевна.

- Встретила его и говорю: ищи, говорю, пропала девка.

Не помня себя, Саша выскочила во двор, захлебнулась морозным воздухом и побежала по улице, на которой уже однажды искала Аню, а в другой раз Дружка. Но, едва завернув за угол, она увидела Митю. Он шел в одной гимнастерке и нес на руках Аню, завернутую в шинель.

Не обменявшись ни словом, все трое вернулись домой.

- Гляди-ка, матушка, - сказала Анисья Матвеевна, - вот кого драть-то надо, вот где вор укрылся.

Под кроватью ни жив ни мертв лежал Дружок.

- Поди-кося, - говорила Анисья Матвеевна.

Но он будто прирос брюхом к полу. Анисья Матвеевна вытолкнула его из-под кровати веником. Он опрокинулся на спину, задрал лапы кверху, притворился мертвым.

- Эх, злодей ты, злодей! - фальшивым голосом приговаривала Анисья Матвеевна. - Вот правду говорят - знает кошка, чье мясо съела. Как ты Аню стала допрашивать - он шмыг сюда. Это ж надо, чтоб у собаки такое хитрое было соображение!

И вдруг комнату переполнил отчаянный Анин плач:

- Не бей Дружка! Мама, не надо его бить! Не в силах сказать ни слова, Саша села на табуретку, уронила голову на стол и заплакала.

Пришла весна. У Ани выпали передние зубы. Она еще похудела, и еще больше стали на ее лице светлые карие глаза.

Как и прежде, она убегала утром из дому и возвращалась к обеду, занятая чем-то своим, что было там, в тупике, торопливо ела и снова убегала. Саша была с ней бережна и нежна. Когда Аня ложилась спать (теперь они разжились еще одним топчаном), Саша садилась рядом и перебирала ее светлые и мягкие прямые волосы. Аня лежала тихо, будто грелась под ее ладонью, но больше не жалась к ней и сама не просила: посиди со мной.

Она растет, не смея себе признаться в настоящей правде, думала Саша. Но она не умела лукавить с собой и в глубине души знала, что случилось непоправимое. Есть вещи, которых не поправить никаким раскаянием, никакой нежностью.

А ведь Аня была незлобива, отходчива, щедра и ласкова.

Может, и не надо воспитывать, а просто надо очень любить? - думала Саша. Ну, конечно, надо приучать чистить зубы и мыть руки. Но разве в этом дело? Нет, есть что-то более драгоценное, к чему не приучишь, что рождается только с любовью и с помощью любви. Что же это? Может быть, ничем не тронутая вера, доверие к тому, что ты нужен и дорог. Вера эта

делает человека тверже, сильнее, смелее. И доверчивее. Как важно не нарушать это, не ранить. Как важно сохранить открытое сердце. Потому что, если оно закроется, замкнется в недоверии, - там надолго станет темно. И не достучаться тогда до этого сердца.

Нет, достучусь! Но какие же бережные должны мыть руки, какие внимательные глаза, какое твердое плечо, чтоб быть рядом, увидеть, услышать, подхватить и дать вовремя опереться.

И часто, часто вспоминала Саша слова, которые прочитала когда-то в толстой тетради с красным сафьянным переплетом. Это было в Калуге. В дневнике, который вела мать Андрея:

"Запас покоя и радости, который уносит человек из своего детства, главное его богатство. Оно помогает ему на всех перепутьях, во всем трудном, что встречается в жизни, а ведь такой судьбы, которую миновало бы отчаянье, горе, потери, пожалуй, на свете нет. Но если я научу его верить в людей, если я оберегу его веру в себя, в свое человеческое достоинство если научу его любить жизнь и помогу найти свое место в этой жизни, - он уйдет из детства богачом".

Да, он вырос богачом. Он поделился своим богатством со мной. А я не сумела одарить Аню покоем и радостью. Может, потому, что во мне самой иссякли запасы покоя?

Аня не любила бывать дома. Но дело было не в том, она и раньше предпочитала бегать с друзьями по тупику, а не сидеть в тесной комнате с низким потолком. Но сейчас она просто томилась дома. Стала неразговорчива, угрюма, робка и груба в одно и то же время.

Ах, как я знаю это, - думала Саша, вспоминая себя и Митю, - ведь Ане не хватало во мне того же, чего я ждала от Мити. Но ему легко меня вернуть, а я... А мы, вернем ли мы ее?

Саша стояла в длинной очереди. Это была очередь в кассу, Саша пришла сюда с Митиной доверенностью прямо из больницы, боясь, как бы не опоздать.

Она стояла, задумавшись, очень усталая, и не приглядывалась к людям вокруг, только машинально ответила кому-то, кто спросил ее:

- Вы последняя?

И вдруг до ее слуха дошло Митино имя. Саша подняла глаза. Неподалеку женский голос спрашивал:

- Что Поливанова не видно?

- Он в Чимгане, - ответил кто-то, кого Саша не могла разглядеть за чужими спинами.

- Между прочим, я как-то видела его с женой. Не знаю, что он в ней нашел. Серенькая какая-то. Как говорится, тринадцатая на дюжину.

- Ну, не скажите... - откликнулся все тот же мужской голос. - Не скажите... Ну, и опять же - ему виднее. Может, изюминка есть.

- Да нет же! Просто синичка! - вступил в разговор высокий молодой человек в шинели - он стоял чуть впереди Саши.

- Не согласен! - снова сказал первый. Саша не могла его разглядеть, теперь она боялась поднять глаза. - Я тоже видел ее, хоть и мельком. Мне она очень понравилась. Синеглазая! И потом, знаете, иногда в женщине бывает нечто таинственное... Да, да, и так бывает.

- Много бы отдала, чтобы узнать, что это такое - таинственное, сказала девушка.

- Ну, об этом не расскажешь, - ответил мужской голос, - а вообще вы, Тася, оказывается, злы на язык: "тринадцатая на дюжину". Взяла да и уничтожила человека одним словом! Не ожидал я от вас!

Они заговорили о другом. Молодой человек в шинели снова вмешался в разговор:

- Вот был такой любопытный случай, - начал он, - одна женщина...

Но Саша уже ничего не слышала. Больше всего она боялась, что ее заметят. Уйти? Да, уйти можно, не обратив на себя внимания. Но как же вернуться домой без денег? Остаться? Но те, получив деньги, пройдут мимо нее и тогда уже заметят наверняка.

Сжав зубы и низко опустив голову, она выстояла очередь и молча сунула в окошко Митину доверенность.

- Поливанова? - грозно переспросила кассирша, и молодой человек в шинели, только что отошедший от кассы, круто обернулся.

Саша получила деньги и прошла мимо него. Ей очень хотелось сказать ему что-нибудь едкое, остроумное, но ничего не шло на ум. Да и что скажешь человеку, назвавшему тебя синичкой? Я - орлица? Или, к примеру, чайка? Она даже не насладились его смущенным видом, просто прошла мимо, не оглянувшись, так и не подняв глаз.

Митя вернулся в тот же день к вечеру, и первые его слова были:

- Завтра свадьба у Алексеевых. Он мобилизован и вот хочет уехать женатым. Мы приглашены.

- Я не пойду, - сказала Саша.

В самом деле, как объяснить, почему она не пойдет? О разговоре в очереди она не может, ни о чем не может рассказать: "Серенькая какая-то... Тринадцатая на дюжину". Нет, этого она не повторит. Тогда - как же объяснить? Ладно, она пойдет. Мало того, она им покажет, какая она синичка. Она будет веселая, она будет удалая, она и не вспомнит об этих словах и станет веселиться, потому что - свадьба. У нее не было свадьбы - ни тогда, с Андреем, ни сейчас. Вот она и пойдет на чужую свадьбу и станет веселиться. И она покажет им, какая она синичка.

Но что же она наденет? Вот белая кофточка. Но юбки нет. Как же быть?.. Саша вытащила из чемодана летнее пестрое платье и оглядела его. Воротник и рукава были драные. Не беда. Саша взяла ножницы и, не задумываясь, отхватила весь верх. Вот и юбка. Она совсем целая. Так. А из того, что было когда-то рукавами, можно сделать бант к белой кофточке. Или маленький пестрый платочек и положить в кармашек. Нет, вот что она сделает: она выкроит ленту и повяжет ею волосы. Никогда она не смотрела в зеркало так пристально, как в этот раз. Потом тщательно выгладила кофточку, заправила ее в юбку и крепко затянула черный кушак с большой пряжкой. Надела туфли и долго мыла Катиным мылом руки в горячей воде. И они пошли на свадьбу - Поливанов и его неприметная жена.

В комнате было много народу - подруги невесты и товарищи жениха, сослуживцы, родственники и просто знакомые. Они толпились по углам, собирались группами, о чем-то говорили, смеялись.

Посреди комнаты стол, а на столе яства: блюда с холодцом - отец невесты работал на мясном заводе, и ему по случаю свадьбы выдали много костей. Потом - винегрет, лепешки из сахарной свеклы, горячая тушенка.

- К столу, прошу к столу! - говорила мать невесты, приветливо улыбаясь.

- Познакомься, Сашенька! - сказал Митя и подвел Сашу к молодым.

Невеста улыбалась, но глядела как будто сквозь нее.

Ничего нельзя было угадать по ее лицу - усталому, чуть растерянному. Жених старался быть подтянутым, но это ему плохо удавалось. Он был очень штатский, невысокий ростом, с расплывчатыми чертами лица и не молодой. Со лба уже убежали залысины. Он старался быть веселым, и все казалось, будто он играет роль рубахи-парня, которому все нипочем - и нынешнее празднество, и завтрашний отъезд. Но где-то в глубине глаз - теплых, добрых - жили недоумение и тревога. Да, глаза ему не подчинялись, и Саша отвела свои. Она только очень крепко пожала руку невесте и сказала про себя: "Пусть тебе будет хорошо. Пусть он вернется. Вы снова встретитесь - и вам будет очень хорошо".

На Сашино плечо легла чья-то теплая рука.

Саша обернулась и увидела Валю Светлову. Валя была нарядная, красиво причесана, и Саша обрадовалась знакомому милому лицу. Но и в этом живом карем взгляде она угадала тревогу.

Что? - только и спросила она.

Костя завтра уезжает. Вместе с Алексеевым, - ответила Валя и тотчас отошла на чей-то зов.

К столу, к столу! - снова позвала мать невесты, и гости задвигали стульями, рассаживаясь.

Все было странно, как во сне. И нарядная печальная невеста, и веселый жених с тревожными, недоуменными глазами, и звон стаканов, и чей-то возглас "горько!", и то, как Алексеев наклонился к невесте и поцеловал ее осторожно и бережно.

И зачем им люди нынче? - подумала Саша. Завтра они расстанутся и встретятся ли вновь? А может, и хорошо, что пришло столько народу, на людях иногда легче. Каково двоим, когда у них впереди только сутки. И может, единственные, последние? А разве у тебя так не было? Вспомни: темная комната, и вы с Митей. Ты ни о чем не хотела думать тогда. Тебе одно было важно: он тут. Вы одни. Вдвоем.

Саша взглянула на молодых. Что они чувствуют сейчас, о чем думают? Есть ли простор словам, которые они, может, никогда уже не успеют сказать друг другу? А может, все слова уже сказаны? И, может, оно и лучше - молчать?

- Положить вам холодца? - услышала Саша.

Она вздрогнула и посмотрела на своего соседа слева. Она увидела длинное, сухое лицо и умные, острые глаза, смотревшие на нее из-за очков.

- Почему вы молчите? - спросил он.

- Так вот вы какой! - сказала она вместо ответа.

- То есть? - удивился сосед.

- Так вот вы какой! - повторила Саша и залпом выпила свою рюмку.

- Саша, - сказал Митя, - ведь это как-никак водка. Закуси скорее. И, пожалуйста, больше не пей.

- Нет, - ответила Саша тихо. - Я буду пить. Нынче свадьба, все должны быть очень веселые... И я так давно не была в гостях! - прибавила она и снова повернулась к соседу слева:

- Налейте мне, пожалуйста, еще!

- Но что вы хотели сказать, когда...

- Я узнала вас по голосу, - отвечала она, не слушая, - вы защищали меня, о, вы встали за меня горой! Ну, помните, там, в очереди, когда какая-то девушка сказала, что я тринадцатая на дюжину, а какой-то молодой человек добил меня, сказал, что я синичка. Вы так надеялись, что, может, во мне все-таки есть какая-нибудь изюминка. Что-нибудь таинственное...

- Так вы... это... слышали?

- Да. Я... это... слышала. Я стояла в конце очереди и очень боялась, что меня заметят.

Он улыбнулся быстрой улыбкой и долил Сашину рюмку.

- Давайте выпьем, - сказал он. - И давайте познакомимся. Меня зовут Борис. Борис Февралев.

- Горько! - сказала женщина, сидевшая напротив Саши.

- Горько! Горько! - подхватили все, и снова Алексеев поцеловал свою молодую жену.

Да, горько, - подумала Саша. - Горько им, горько Вале и Косте, горько расставаться, горько ждать писем, горько плакать по ночам.

- Эх, - сказала женщина, только что крикнувшая "горько!". У нее в ушах были большие голубые серьги, а на жилистой шее такие же голубые крупные бусы. - Эх, что говорить! Я лысых не люблю. Я старых не люблю. Я люблю высоких, молодых и зубастых. Вот как Поливанов.

- Весьма благодарен! - сказал Митя, чуть поклонился и прижал руку к сердцу.

- Не стоит благодарности, - ответили голубые серьги. - А это ваша жена? Что ж вы ее прятали? Я думаю, - продолжали серьги, обращаясь к Саше, - за таким Поливановым быть замужем - ой-ой-ой! Надо держать ухо востро!

- Будет вам! - сказал Митя со злостью.

Голубые бусы даже не поглядели в его сторону. Женщина с пьяной упрямой пристальностью смотрела на Сашу.

- Им, мужикам, кланяться? Полюби, мол, приласкай? Э, нет! Ты себя люби! Ты на них плюй! Ты им горькой будь, вот тогда станут табуном за тобой ходить.

- Не слушайте ее, - сказал Февралев. - Она пьяна.

- Нет, она говорит интересно. Только вся эта мудрость не для меня, ответила Саша и спросила - У нее что-нибудь случилось? Какое-нибудь горе?

- А вы думаете, люди говорят злобно, только когда у них горе? Но в одном вы правы, ее премудрость вам ни к чему.

- Вы говорите так, будто век меня знаете.

- Да, мне кажется, знаю.

От выпитого ли вина, оттого ли, что глаза собеседника смотрели упорно и ласково, оттого ли, что оказалось - он москвич и живет неподалеку от Серебряного переулка, но только говорить

было легко. Нет, Саше больше не казалась горькой эта свадьба. Ей почудилось, что здесь весело, бездумно и счастливо, как и должно быть на свадьбе. Когда стол и стулья отодвинули к стене, расчистив место для танцев, Февралев предложил: "Пойдемте!", и она вместе с ним вошла в круг танцующих. Пластинки были старые, мелодии давнишние, надоевшие, а Саше они казались прекрасными. Никто здесь, на этой горькой венной свадьбе, не знал, что она танцует в первый раз после многих лет.

А потом потушили верхнюю лампу и пели. И женщина в голубых бусах сказала:

- Эх, под гитару бы!

И Саша взяла в руки гитару. В первую секунду рукам, давно не касавшимся струн, показалось, будто они все забыли. Но они тотчас вспомнили - пробежали по струнам и вспомнили. И, не страшась людей, забыв о них, Саша тихонько наиграла мелодию песни, которую пела Бабанова в пьесе "Таня": "Вот мое сердце раскрыто, если хочешь, разбей", - и все притихли, и Саша спела Танину песню. И когда кто-то сказал: "Еще", она стала петь все, что помнила, все, что пела когда-то с Юлей.

Она сидела на диване с ногами, прижав к себе гитару, и пела. Она отыскала глазами Митю, улыбнулась ему и удивилась, не дождавшись ответной улыбки. Она нынче забыла все плохое, забыла, что он теперь улыбается редко, забыла, что она - синичка. Сегодня вечером все было прекрасно - и свадьба, и гости, и эта незнакомая комната, и жених, попросивший спеть "Быть тебе только другом - нет, не в силах я", и невеста, которой хотелось услышать романс "Мой костер в тумане светит", - все были такие добрые, такие свои.

- Ах, Митя, - сказала она по дороге домой, - как хорошо, как славно было! Правда?

- Было... было безобразно! Отвратительно! - ответил Митя.

Саше показалось, что ее ударили.

- Митя... Что ты говоришь? Почему безобразно?

И тут он, молчавший весь вечер, заговорил. Он сказал, что давно понял: она его никогда не любила. А нынче вечером она вела себя возмутительно. Ему стыдно, да, да, стыдно было за нее!

- Но что, что же я такое сделала? - спросила она в ужасе.

Он шел быстро, она едва поспевала за ним, не понимая, что случилось, из счастья, из света вдруг попав в темноту и неразбериху. Они шли через темный город пешком - трамваи уже не ходили. Хмель истаял, и Саша уже не помнила, что это она час назад танцевала, пела, пила вино. Опять стало холодно, трезво и горько. "Да, наверно, я страшно напилась и сделала что-нибудь ужасное! И сама не помню, но что же, что?" Она и мысли не допускала, что не виновата. Если Митя так сердится, значит...

Почти у самого дома он остановился, взял ее руки в свои.

- Забудь все, что я наговорил. Ты ничего не сделала нынче плохого. Но я... я не могу отвязаться от мысли, что ты меня не любишь...

- Митя! Но зачем бы тогда...

- Молчи. Ты любишь меня не так, как... не так, как его. Ты постоянно сравниваешь. Ты вспоминаешь. Я знаю, я знаю это. Я всегда это знал. И я не могу с этим жить.

- Митя!

- Молчи. Я знаю. Я должен был оставить тебя в покое. Любовь - это подарок. Подарки не завоевывают. А я... Я так помню твое лицо, когда ты говорила: "Я буду скучать без вас". Так не говорят, когда любят. А сейчас, когда я приехал... вот такой, как сейчас... Ну, конечно, ты не могла сказать "нет". Но ты не любишь. Ты жалеешь. И если бы ты меня любила, ты не могла бы вот так, как сегодня...

- Митя, - говорила она, смеясь и плача, - но ведь ты просто глупый. Я не знаю, что я сегодня сделала не так...

- Ты не сказала со мной ни слова, ты просто забыла, что я существую. Ты так разговаривала с этим, как его... Ну, этот развязный, Февралев. Ты, наверно, думаешь, что я ревную. Я нисколько не ревную, я вообще не знаю этого чувства. И было бы к кому! Неужели ты не заметила, что он глуп? Глуп и развязен? И ты так на него смотрела! И танцевала. Ты же знаешь, что я не могу теперь танцевать.

Но это было бы неважно, если бы я не знал главного - ты меня не любишь. Я живу с этим постоянно. Только, пожалуйста, не думай, что я ревную, - это было бы нелепо.

- Конечно, нелепо, - сказала она.

- Нет, продолжал он, взрываясь снова, это глупый развязный газетчик... И ты...

Она шла рядом, и в каждом слове слышала: "Я мучаюсь, мне больно, я не знаю, как избавиться от этой боли, и мне завтра будет стыдно, но я ничего не могу поделать..." И ей было жаль его, и она была счастлива этими бессвязными и жестокими словами. Она крепко сжала Митину руку и сказала:

- А я думала, это ты меня больше не любишь...

Саша вышла на улицу. Под деревом стояла Катина коляска, рядом на табуретке сидела Аня - ей поручено было сторожить Катю. Она сторожила серьезно и сосредоточенно и не спускала со спящей Кати своих ярко-коричневых глаз. Иногда Аня отгоняла от личика спящей Кати комаров и мух. Сережа и Юра, которые сидели тут же на скамейке, понимали, что до Ани им далеко. У них не было такой маленькой сестры. И они бывали очень благодарны, если Аня позволяли им качнуть коляску или погремать над Катей погремушкой. Но сейчас девочка спала, и все разговаривали вполголоса.

- Ты не хвастайся! - говорил Сережа какому-то мальчику, которого Саша не знала. - Подумаешь, фантики у него!

- Подумаешь, воображает, - сказал Юра.

- Вот у нее, может, папа контуженый, прямо с фронта, а она и то не хвастается, правда, Аня?

Аня кивнула.

- И все вы врете! - сказал незнакомый мальчик. - И никакой он не контуженый.

- А вот и контуженый! Вот и контуженый! - вступился Юра. - Тетя Саша, ну скажите ему!

На Сашино счастье по тупику шел сам Митя. Он размахивал каким-то конвертом и смотрел весело.

- Дядя Митя, ведь вы контуженый? - закричал Сережа. - Он не верит, скажите ему!

Митя внимательно посмотрел на чужого мальчика и строго подтвердил:

- Факт - контуженый!

Чужой мальчик был посрамлен. И попятился прочь.

- Ну вот, - сказал Митя. - Сейчас я оправдаю ваше доверие. Смотрите, три билета на детский праздник. У нас нынче какое? Тридцатое апреля. Ну вот то-то. Канун Первого мая. Давайте собирайтесь!

И на самом деле: в конверте были билеты. Три билета в редакцию "Правды Востока" на детский праздник. Саша не знала, за что приняться раньше - то ли причесывать Аню, то ли умыть хоть как-нибудь Сережу и Юру. Комната наполнилась суетой, голосами детей, воркотней Анисьи Матвеевны, выбегавшей то и дело в тупик взглянуть на Катю.

С грехом пополам Саша умыла мальчиков, надела на Аню платье - новое, сатиновое, в голубой горошек. Она заплела Ане две косички и даже повязала синюю ленту. Отодвинула Аню, посмотрела как бы со стороны, но не увидела ни смешного беззубого рта, ни тощего личика - ярко сияли ей навстречу шоколадные веселые глаза. Хорошие глаза, - вдруг снова обрадовалась Саша, карие, светлые.

- Пошли! - сказал Митя и взял Аню за руку. Мальчики семенили рядом.

Хвастовства завтра будет, хвастовства! - подумала Саша.

...Они вернулись домой счастливые, веселые все четверо, даже Митя. словно дети передали ему частицу своей радости. Три мешочка с изюмом, урюком, орехами! На брата, кроме Мити, по восемь грецких орехов и одному прянику. Аня развернула пакетик - развернула молитвенно, осторожно - и высыпала все сокровища на стол.

- Это тебе, мама, - сказала Аня торжественно, - это тебе, тетя Анисья, Митя, и тебе тоже. Это урюк, он очень сладкий. На, Митя!

- Не надо, не надо, ешь сама!

- Возьми! - сдвинув брови, сказала Саша. Мальчики, потрясенные Аниной щедростью, принялись развязывать свои мешочки.

- Нет, - сказала Аня, - отнесите своей бабушке. Я своей маме, своей тете Анисе и Мите. А вы своей бабушке...

- Мама, до чего же весело было! - говорила Аня ночью, захлебываясь и перебирая Сашины пальцы. Я стихи прочитала, И все мне хлопали. А Митя даже сказал "браво".

- Митя любит тебя, - осторожно сказала Саша. Аня примолкла.

- Мама, а столов, столов у них! - сказала она чуть погодя, уже засыпая. - И чернильниц, чернильниц у них! Ну, прямо в каждой комнате три стола! :

Хозяйка добилась своего: Митя уворовал у нее из сарая дощечку и вырезал ребятам лодку. Выпросил у Анисьи Матвеевны обрывок старой простыни и сделал два паруса.

- Ну, совсем настоящая! Ну, вылитые паруса! - кричал Сережа.

- Ну-у! Здорово! - как зачарованный, повторил Юра. А соседские ребята молчали. Они глядели на лодку жадно и завистливо, и один, постарше, попробовал сказать:

- Подумаешь, лодка! У нас их дома полно!

Но никто и ухом не повел, словно и не слышали. Юра, Сережа и Аня пошли к арыку. Лежа на



животах и прикрепив лодку к берегу толстой веревкой, чтоб не унесло, они смотрели на волшебное отражение лодки в воде. Им казалось, что лодку уносят волны, что раздуваются по ветру паруса. В арык глядели небо, и солнце, и длинное узкое тела лодки, и белый ее парус.

Лодку несло, несло и вдруг унесло. Она сорвалась с веревки, и все трое тотчас бултыхнулись в воду. Три пары рук схватили лодку, три пары босых ног шлепали по дну, пока прохожий не прикрикнул:

- Эй, ребята! Назад!

И все трое пошли назад, и лодка опять поплыла, привязанная к веревке, и уплыла бы в далекие страны, если бы за ней не пришли Саша с Катей.

Саша поволокла ребят прочь от арыка. А Дружок уже хотел было броситься в воду, но раздумал, увидев, что и без его вмешательства все целы.

- Мама, не сердись, ведь жарко! - оправдывалась Аня. Саша сердилась, но старалась воли себе не давать.

- Ой, какой же у тебя папа! - заискивающе сказал Юра. - Лодку какую сделал!

- А он мне не папа совсем! - вдруг сказала Аня и поглядела на Сашу с вызовом.

Они подошли к дому, и вдруг при угасающем, но еще ясном свете дня Саша увидела, что глаза у Ани красные, опухшие. Сердце у Саши екнуло, она уже знала признаки этой болезни. Придя домой, она промыла Ане глаза борной. Но на другое утро глаза заплыли - это была ташкентская глазная болезнь, которая настигает детей летом и мучает болью, гноем, жаром. Прекрасные карие глаза, которые так любила Саша, будто скрылись и не освещали больше Аниного лица.

Но это было не все. Начался коклюш, он сотрясал худое тело, Аня заходила в страшном кашле, и Саше казалось, что она вот-вот задохнется.

- Ох, и заразная эта коклюш! - бормотала Анисья Матвеевна.

И на самом деле, скоро начала кашлять годовалая Катя. Смуглая, кудрявая, она отчаянно тарасила круглые, очень черные глаза и протягивала руки с беспомощно растопыренными пальцами, - она уже и совсем не понимала, что с ней творится.

- Мама, - сказала Аня, - Митя потому сердитый, что Катя от меня заболела?

- Ну что ты, Анюта, ну зачем ты так говоришь? Митя просто жалеет вас и тебя и Катю.

Аня прижалась к Сашиной руке и опять зашла кашлем.

Сашу трогало Анино мужество. Она не жаловалась. Только взгляд милых шоколадных глаз под густыми ресницами и воспаленными веками был усталый и печальный, Аня жалела Сашу и на вопрос: "Как ты себя чувствуешь, Анюта?" неизменно отвечала: "Хорошо".

Детям надо было дышать влажным воздухом - так велел врач. И Анисья Матвеевна, прихватив Катю с Аней, подолгу сидела у арыка. Иногда се сменял Митя. Посадив Катю на одно колено, Анюту на другое, он рассказывал что-нибудь забавное.

Катя засыпала, Анюта слушала - внимательно и молчаливо.

- А ты не боишься, - спросила она однажды, - что Катя заболеет от меня глазками?

- Я ведь не стучаю вас лбами, верно? Ее колено - левое, твое - правое. С чего же ей от тебя заразиться?

Близилась осень. Уход как будто делал свое дело. Болезнь остановилась, дети стали крепче, по ночам их уже не сотрясал кашель. Митя, когда не бывал в отъезде, заходил за Сашей в больницу. Ждал у порога, как в старые, очень старые времена. Они шли рядом сквозь жаркий город, даже к вечеру жаркий, иногда рассказывая друг другу, как прошел день, иногда молча, рука об руку. Это было как подарок, они так редко бывали вдвоем. Это был их час, их минуты - путь от больницы к дому.

И нынче, увидев Митю, который стоял, поджидая ее у почты, на другой стороне улицы, Саша вспомнила, как он стоял тогда, в первый раз.

"Добрый день, товарищ сестра. Не хотите ли посмотреть пробы?" - будто услышала она и засмеялась. Так, смеясь, она подошла к нему.

- Знаешь, что я вспомнила? - сказала она.

- Знаю: как я пришел к тебе с приглашением пойти на кинофабрику в Лихов переулок.

- Как ты догадался?

- Я про тебя все знаю. Запомни это раз навсегда.

- Ну и знай! А я тебе докажу, что ты задаешься! Я тебя еще так удивлю!

Они шли молча. Саша была счастлива оттого, что он рядом, чувствовала, что он нынче добр и нежен, хоть и не говорит ничего. Он крепко сжал ее руку, и рука обрадовано ответила.

Солнце садилось. В багряном последнем свете особенно яркие были городские улицы. Саша глядела по сторонам и видела, что город очень красивый. Ане и Кате утром было лучше. Сводка нынче хорошая: освободили Белгород и Орел! Все еще прибывали и прибывали на станцию поезда с детьми. На земле стало еще больше сирот, вдов и матерей, потерявших своих ребят. И все же победа приближалась. И никакое сердце не могло оставаться глухо к надежде. Саша вспомнила красные флажки на Митиной карте и подумала: все уладится... Все будет хорошо. Митя идет с ней рядом. Нет, все-таки жить на свете прекрасно!

Они подходили к дому.

- Скажи, - останавливаясь, сказала Саша, - ты пришел потому, что уезжаешь завтра в Коканд? Ты хотел, чтоб мы побыли вместе?

- Я не уезжаю, Сашенька. Я сговорился с Рашидовым, он едет вместо меня.

- Что случилось? - спросила она с тревогой.

- Сашенька... Я пришел потому... потому, что Аня опять слегла.

- Пошли мы с ней в магазин, - рассказывала Анистья Матвеевна, поставила я ее в уголок, от людей подальше, говорю: "Постой маленько, рис дают". Очередь не большая, но не сказать, что маленькая. Оглянулась - она на полу сидит. Да ты что, говорю, сдурела? А она голову свесила и молчит. Даю леденец - не берет. Я ее в охапку, а она: "Тетя Анистья, лечь, лечь хочу". Ну, уж если ребенок сам - лечь, ну, думаю, плохо. И впрямь... Уложила ее, а она вроде задремала, слова не говорит. Только стонет. Я ей: головушка, говорю, болит? А она одними глазами показывает: нет, мол, не болит. Ну, Димитрий поставил градусник - глядим, тридцать девять. Он туда-сюда, докторшу позвал, она говорит: воспаление легких. Ну, он вечера дождался и за тобой побег... Ну, чего ты? Чего ты? Это, матушка моя, если всякий раз из-за

каждой дитячей болезни так с лица спадать, это, знаешь, никаких сил не хватит.....Они дежурили возле Ани по очереди. Митя - днем, Саша - ночью, не оставляя ее ни на минуту. А она словно уходила и уходила от них. Ничего не было такого, что могло се тронуть или обрадовать, вызвать улыбку. Она как будто их и не слышала.

- Хочешь, я тебе почитаю? - спрашивал Митя.

- Почитай, - отвечала она безучастно.

- Аня, нынче наши взяли Киев. Держи флажок! Он расстилал на коленях карту и говорил:

- Ну, приколи сама!

Она послушно брала флажок и пыталась вколоть его, но слабые пальцы не слушались.

Не отдавая себе в том отчета, Митя и Саша предлагали Ане все, в чем отказывали прежде. Но сейчас ей ничего не было нужно. И только однажды, когда Митя посадил к ней на кровать Катю, она улыбнулась. Катя захлопала рукой по одеялу, сказала с натугой: "А я!"

Это слово Катя произнесла впервые. Аня благодарно улыбнулась, но почти тотчас прикрыла глаза и сказала:

- Убери ее!

- Что у тебя болит, Анюта?

- Ничего, - ответила Аня.

Анин лоб светился синевой. Уши казались большими, так исхудало лицо. Сквозь тонкую кожу на висках проступали синие жилки. Ее надо было кормить, выхаживать. Аня ела кротко, не в силах спорить, но есть ей теперь не хотелось.

...Была ночь. Митя сидел у стола, Саша у Аниной кровати.

Митя, ложись, - сказала Саша.

Нет! - ответил он, глядя в окно.

Аня дремала. Саша на минуту вышла на улицу, распрямила спину. Уже четвертые сутки она не спит. Сейчас она свалится и на час забудет все. Саша глотает ночной воздух, чувствует его свежий вкус. Воздух кажется ей упругим, как вода. "А что, если..." - думает она, - но нет, об этом нельзя думать никогда, ни за что. Саша встряхивает головой. И, стараясь не скрипнуть дверью, возвращается в комнату. Ее встречают полуоткрытые Анины глаза. Саша наклоняется над ней, и вдруг Аня говорит тихо, почти неслышно, Саша скорее угадывает, чем слышит:

- Мама, а он меня любит.

Саша не понимает.

- Кто? - спрашивает она.

- Он! - отвечает Аня и скашивает глаза к столу, за которым сидит Митя. - Мама, он плакал. Я видела. Ему меня жалко!

Аня снова закрывает глаза. За столом сидит Митя. Губы его крепко сжаты. Он набивает трубку. Лицо у Мити спокойное, глаза сухие, только чуть покраснели веки.